

АРТУРО ПЕРЕС-РЕВЕРТЕ

A stone tower with a red interior and a small arched window showing a red figure.

Ничто не бывает
только черным
или белым...
Одно никогда
не исключает
другого.

*Артуро
Перес-Реверте*

ОСАДА,

или ШАХМАТЫ СО СМЕРТЬЮ

Большой роман

Артуро Перес-Реверте

Осада, или Шахматы со смертью

«Азбука-Аттикус»

2010

УДК 821.134.2
ББК 84(4Исп)-44

Перес-Реверте А.

Осада, или Шахматы со смертью / А. Перес-Реверте — «Азбука-Аттикус», 2010 — (Большой роман)

ISBN 978-5-389-20501-7

1811–1812 годы. Кадис, последний оплот испанцев, сражающихся за свою независимость, осажден французами. Войска Жозефа Бонапарта планомерно обстреливают город, и, странное дело, именно в тех местах, куда попадают снаряды, происходит серия жестоких убийств молодых девушек. Рохелио Тисон, комиссар местной полиции, не отличающийся мягкостью нрава, вместе с Иполито Баррулем, партнером комиссара по шахматам, разыскивают таинственного убийцу... Роман Переса-Реверте – острая, на грани жизни и смерти, напряженная, местами безумная многоходовая шахматная партия, фигуры в которой непредсказуемы, а результат игры может изменить не только судьбу героев, но и ход мировой истории. Сам писатель, автор таких международных бестселлеров, как «Фламандская доска», «Клуб Дюма» (литературная основа «Девярых врат» Романа Полански с Джонни Деппом), цикла романов о приключениях капитана Алатристе (экранизация с Вигго Мортенсеном) и многих других, так рассказывает о книге: «Технически это мой самый сложный роман, с самой разветвленной структурой... Я спустя двадцать лет словно опять вернулся к моим старым романам. Здесь есть и политическая интрига со шпионажем, и расследование, и любовная линия, и морские сражения, и приключения».

УДК 821.134.2
ББК 84(4Исп)-44

ISBN 978-5-389-20501-7

© Перес-Реверте А., 2010

© Азбука-Аттикус, 2010

Содержание

1	8
2	29
3	49
4	74
Конец ознакомительного фрагмента.	92

Артуро Перес-Реверте

Осада, или Шахматы со смертью

Хосе Мануэлю Санчесу Рончу – amicus usque ad aras¹

И тем, кто тщится проникнуть разумом тайны природы, весьма важно знать, притяжением ли или отталкиванием движимые, взаимодействуют друг с другом небесные тела; влекутся ли они друг к другу, побуждаемые к сему внешней силой, заключенной в какой-нибудь невидимой и тонкой материи, или же обладают некой собственной, таинственной и скрытой способностью.

Леонард Эйлер. Письма к немецкой принцессе, 1772

Может по воле богов случиться все в этом мире.

Софокл. Аянт

Arturo Pérez-Reverte
EL ASEDIO

Copyright © 2010 by Arturo Pérez-Reverte
All rights reserved

© А. С. Богдановский, перевод, 2011

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021

Издательство ИНОСТРАНКА®

* * *



1

На шестнадцатом ударе привязанный к столу человек лишился чувств. Кожа на лице стала изжелта-прозрачной, голова свесилась бессильно. Свет масляной лампы со стены обозначил дорожки слез на грязных щеках, кровавую прерывистую струйку из носа. Палач на секунду замер в нерешительности, одной рукой держа кнут, а другой обирая с бровей капли пота, от которого уже насквозь вымокла его рубаха. Потом повернулся к человеку, стоявшему позади, у дверей, поднял на него виноватые собачьи глаза. Он и сам похож на сторожевого пса – крупного, хорошей злобности, но туповатого.

Человек в дверях дважды пыхнул сигарой – и раскаленный уголек разгорелся ярче, бросил красноватый отблеск на темный очерк лица.

– Опять не тот... – говорит он.

И про себя добавляет: «Свой предел всему положен». Но вслух не произносит ничего, рассудив, что все равно без толку – не в коня корм. Да, у каждого свой порог, своя точка слома, надо только знать, где она, и уметь подвести к ней. Тонкий нюанс. Угадай, когда остановиться и как. Бросишь на весы на гран больше нужного – и все к черту пошло. Псу под хвост. Зря старались. Только время потеряли. Выпалили вслепую, а настоящую цель, наверно, уже упустили. Пустые хлопоты, даром пролитый пот: этот остопоп с кнутом по-прежнему утирает его с бровей, чутко ожидая, прикажут продолжать или нет.

– Дохлый номер.

Агент глядит оторопело, непонимающе. Его зовут Кададьсо². Отличное имя для человека его ремесла. Человек с сигарой в зубах отделился от дверного косяка, подошел к столу, склонился над обеспамятевшим, вгляделся – недельная щетина, короста грязи на шее, на руках и на спине, меж вспухших лиловатых рубцов. Три – явно лишние. Может, четыре. На двенадцатом ударе все стало ясно, однако следовало все же убедиться непреложно. Впрочем, в любом случае жалоб и нареканий не последует. Нищий как нищий, бродяга с перешейка. Один из того многочисленного отребья, которое войной и осадой занесло в город, как прибором выносит на песок всякую дрянь.

– Это не он.

Кададьсо моргал, силясь уразуметь. Казалось, было видно, как новое сведение медленно пробирается по чашобам его дремучих мозгов.

– Если позволите, я бы мог...

– Сказано же тебе, болван, – это не он!

И все же, приблизившись совсем вплотную, оглядел арестанта еще раз, внимательно. Полуоткрытые глаза застыли, остекленели. Но жив. Чего-чего, а трупов Рохелио Тисон навиделся во множестве, живого от покойника как-нибудь да отличит. Бродяга дышит, хоть и слабо, и на шее, набухнув оттого, что голова свесилась, медленно бьется жилка. Склонясь еще ниже, комиссар принюхался: заглушая вонь немытого тела, витает парной кисловатый запах – обмочился под ударами. И еще – ледяной испарины, что пробирает человека в минуты страха: ее, стынувшую сейчас на меловом обморочном лице, никогда не спутаешь со звериным смрадом, которым несет от взопревшего человека с бичом. Тисон, безглаголиво сморщившись, попыхтел сигарой, обвололся целым облаком густого дыма, втянул его в ноздри, чтобы заглушить злобоние.

– Очнется – дашь ему какой-нибудь мелочи, – сказал он уже от двери. – И предупреди, чтоб не болтал: вздумает жаловаться – пусть пеняет на себя. Так дешево не отделается, освежаем, как кролика.

² Одно из значений слова *cadalso* – плаха, эшафот (*исп.*).

Бросил окурок на пол, придавил носком сапога. Взял со стула круглую шляпу с невысокой тульей, трость, серый редингот и, толкнув дверь, вышел наружу, на залитый ослепительным светом берег, вдоль которого в отдалении, за Пуэрта-де-Тьеррой, распластался Кадис, белый, как паруса корабля, идущего под вынесенными далеко в море крепостными стенами.

Жужжат мухи. В этом году рано слетелись на мертвечину. Тело лежит на прежнем месте, по ту сторону дюны, на гребне которой *левантинец* взвихривает песок. Стоя на коленях, меж разведенных бедер убитой возится всему свету известная тетка Перехиль, местная повитуха, а в молодые годы – проститутка из квартала Мерсед, давняя и надежная осведомительница комиссара, за которой он давеча посылал в город. Тисон больше доверяет ей и собственному природному чутью, чем безграмотному, продажному, вечно пьяному коновалу, которого полиции положено привлекать себе в помощь в подобных делах. А их за последние три месяца было уже два. Или четыре, если считать трактирщицу, зарезанную мужем, и хозяйку пансиона, которую из ревности убил студент-постоялец. Только зачем же их считать: это дела совсем другого рода, ясные с самого начала бытовые преступления, совершенные, что называется, в состоянии умоисступления, когда человек себя не помнит. Не то с этими девушками. Совсем другая история. Особенная. Ни на что не похожая и довольно жуткая.

– Нет, – говорит тетушка Перехиль, по нависшей тени догадавшись, что у нее за спиной появился Тисон. – Нетронутая. Чиста и непорочна, какой мама родила.

Комиссар вглядывается в лицо погибшей – кляп во рту, спутанные, растрепанные волосы забиты песком. На вид лет четырнадцать или пятнадцать, тощеватая, худосочная. На утреннем солнце кожа почернела и уже немного вздулась, но это сущие пустяки по сравнению с тем, что представляет собой ее спина, рассеченная кнутом до костей, – вон они белеют меж сгустков запекшейся крови и волокон разорванных мышц.

– В точности как в прошлый раз, – заметила Перехиль.

Она одернула на убитой задранную юбку и поднялась, отряхивая налипший песок. Потом подобрала валяющуюся рядом шаль, накрыла истерзанную спину, согнав целый рой обсевших ее мух. Шалька – из тонкой и редкой шерстяной ткани, дешевенькая, как и вся прочая одежда девушки, которую, кстати, уже опознали: это служанка с постоянного двора, что на полпути от Пуэрта-де-Тьерры к Кортадуре. Вчера днем еще засветло вышла оттуда и направилась в город – проведать больную мать.

– А что ваш бродяга, сеньор комиссар?

В ответ Тисон только пожимает плечами. Тетушка Перехиль – крупная, рослая, мужеподобная, на славу вытрепана не столько числом прожитых лет, сколько тяжелой жизнью. Зубы во рту наперечет. Полуседые корни крашенных сальных волос, выбившихся из-под черной косынки. Целая гирлянда ладанок и медальонов на шее, длинные четки на поясе.

– Опять не то?.. А орал так, будто это он был.

Под суровым взглядом комиссара она осеклась, отвела глаза.

– Помалкивай, а? Пока сама не заорала.

Повитуха уже сообразила, что лучше прикусить язык: слишком давно уж она знакома с Тисоном, чтобы не понимать, когда он не склонен откровенничать. Вот как сейчас, к примеру.

– Извиняйте, дон Рохелио. Это я так, в шутку...

– С мамашей своей шутить будешь, когда в аду свидитесь. – Тисон двумя пальцами выудил из жилетного кармана серебряный дурос³ и швырнул его повитухе. – Проваливай.

Комиссар в бессчетный раз за сегодняшний день огляделся по сторонам. Ветер давно уже занес песком следы, оставленные накануне. А с чем не справился ветер, затоптали люди: с той минуты, как погонщик мулов обнаружил труп и дал знать на ближайшую венту, народу здесь перебивалась уйма. Тисон довольно долго сидел в неподвижности, тщательно перебирая в

³ Дурос – монета достоинством пять песет, или двадцать реалов.

голове, не укрылось ли что от его внимания, но наконец сдался и махнул рукой. И все же, углядев широкую борозду на одном из склонов дюны, поросшем низким кустарником, поднялся, подошел поближе и вот теперь сидит перед ней на корточках, разглядывая вблизи. На миг возникает ощущение, что это все уже было с ним, что он уже видел однажды, как сидит здесь, всматривается в следы на песке. Голова тем не менее отказывается отчетливо воспроизводить это воспоминание. Может быть, это всего лишь один из тех редких снов, которые по пробуждении кажутся неотличимыми от действительности, или еще какая-то невесть откуда взявшаяся и необъяснимая уверенность, что происходящее с тобой сейчас уже происходило когда-то. Так или иначе, но комиссар выпрямляется, не придя ни к какому определенному выводу – ни по поводу своих ощущений, ни относительно этого следа: такую борозду мог оставить ветер или животное. Но могли, конечно, и те, кто волок тело по песку.

Когда на обратном пути он поравнялся с трупом, ветер, гонявший песок по гребню дюны, взметнул юбку, открыл ногу до самого колена. Тисон к сантиментам не склонен. Суровое ремесло в сочетании с угловатым и неподатливым характером давно уже приучили его видеть в мертвом теле всего лишь кусок мяса, гниющий что на солнце, что в тени. Не более чем объект расследования, сулящего неизбежную морочу, бумажную канитель, выволочки от начальства. И вид трупа давно уж не смущает душевный покой комиссара Рохелио Тисона Пеньяско, который из пятидесяти трех лет, прожитых на свете, тридцать два года несет полицейскую службу, мотаясь по улицам, как старый бродячий пес. Но на этот раз даже он, человек загорбелый, ко всему привычный, не смог перебороть какую-то смутную неловкость. И потому кончиком трости вернул подол на место и присыпал сверху пригоршней песку, чтобы снова не задрался. И тут вдруг заметил, как блеснул под ногами наполовину втоптаный в песок металлический предмет, по форме похожий на штопор. Наклонился, подобрал его, взвесил на ладони и убедился, что это осколок французской бомбы. Их при разрыве разносит во все стороны. Ими засыпан весь Кадис. А этот, без сомнения, прилетел сюда с венты Хромого, из патио, куда совсем недавно угодила одна такая.

Отшвырнув осколок, комиссар зашагал к выбеленной стене венты, на почтительном расстоянии от которой удерживали кучку любопытствующих двое солдат и капрал, по просьбе Тисона еще утром присланные сюда караульным начальником из Сан-Хосе: пара военных мундиров сумеет внушить больше уважения зевакам. Вот они толпятся – лакеи и горничные из окрестных гостиниц, погонщики мулов, кучера шарабанов и почтовых карет вместе со своими пассажирами, какой-то рыбак, местные женщины и ребятишки. Впереди – сам Пако Хромой, напыжась в сознании двойного превосходства над всеми, ибо и заведение это принадлежит ему, и о том, что обнаружен труп девушки, власти оповестил тоже он.

– Говорят, будто не того схватили, – обратился хозяин к подошедшему Тисону.

– Правильно говорят.

Нищий давно уже бродил по округе, так что хозяева постоянных дворов дружно указали на него, едва лишь нашли убитую. Пако Хромой самолично выпалил по нему из охотничьего ружья, задержал до прихода полиции да еще и не допустил расправы – нищий получил лишь несколько оплеух и зуботычин. Горькое разочарование читается теперь на лицах у всех, а пуще всего – на лицах мальчишек: не в кого больше швырять камнями, которые понапрасну оттягивают им карманы.

– Это точно, сеньор комиссар?

Тисон, не снизойдя до ответа, в задумчивости разглядывает стену там, куда угодила французская бомба.

– Скажи-ка мне, дружок, когда это произошло?

Пако – большие пальцы за кушаком – стоит с ним рядом, всем своим видом являя почтение и предупредительность. Он давно знаком с комиссаром и знает, что обращение «дружок» ничего не значит, а прозвучи оно в ответ из собственных его уст – беды не оберешься. Надо

сказать, кстати, что хромотой страдал не он, а дед его, но в Кадисе клички переходят по наследству верней, чем деньги. И клички, и профессии. У Хромого – славное прошлое моряка и контрабандиста, о чем известно всем, не исключая и Тисона. Комиссар знает, что подвал винты битком набит товарами с Гибралтара и что по ночам, когда море спокойно, а ветер умеренный, прибрежный пейзаж оживляют силуэты баркасов и быстрые тени, снующие взад-вперед с тюками и ящиками. Порою грузят даже скотину. Впрочем, пока Хромой будет исправно и сколько положено платить таможенным, военным и полицейским – опять же не исключая Тисона – за то, чтоб смотрели в другую сторону, все, что происходит на этом берегу, никому не доставит неприятностей. Совсем другое будет дело, если Пако начнет мудрить, занесется, пренебрежет своими обязательствами или по примеру кое-кого в городе и за пределами его начнет возить контрабанду неприятелю. Но не пойман – не вор. И в конце концов, война войной, осада осадой, но от замка Сан-Себастьян до моста Суасо по-прежнему действует старинное правило: живи и давай жить другим. Это касается и французов, которые уже довольно давно ослабили натиск и ограничиваются тем лишь, что постреливают издали, как бы по обязанности.

– Вчера утром, часов около восьми, – отвечает Пако, указывая на восточную часть бухты. – Палили вроде бы оттуда, с батареи на Кабесуэле. Жена как раз белье развешивала, увидела вспышку. Потом грохнуло, а чуточку погода рвануло вон там.

– Ущерб велик?

– Да нет, какой там ущерб: кусок стены разнесло, в птичник попало, нескольких кур убило... Но перепугались сильно, что говорить. Жена так и сомлела. Шагов бы на тридцать поближе – и быть мне вдовцом.

Тисон, ковыряя ногтем в зубах – в левом углу рта посверкивала золотая коронка, – смотрел меж тем на полоску воды шириной в этом месте примерно в милю: от занятого французами материка она отделяет перешеек, который вместе с городом Кадисом образует полуостров, одним боком обращенный к побережью Атлантики, а другим – к бухте, к порту и к плавням Исла-де-Леона.

Задувавший левантинец делал воздух прозрачным и чистым, и можно было невооруженным глазом рассмотреть неприятельские укрепления на мысе Трокадеро: справа – Форт-Луис, слева – полуразрушенные стены Матагорды, а несколько выше и позади – батарея Кабесуэлы.

– А еще бомбы долетали оттуда?

Хромой покачал головой. Показал на перешеек, тянувшийся по обе стороны от его винты:

– Рвались вон там, возле Агуады, а особенно много – в Пунталесе: падает день и ночь, тамошние боятся нос высунуть, живут как кроты... А здесь – впервые.

Тисон рассеянно кивает. И продолжает глядываться в позиции французов сощуренными глазами, потому что солнце, отблескивая на белой стене, на морской глади и на дюнах, слепит нещадно. Он прикидывает траекторию и сравнивает ее с другими. Как это его раньше не осенило? Впрочем, в военном деле, а тем паче – в баллистике, он разбирается слабо да и не убежден, что догадка его верна. Наитие, смутное прозрение. Особого рода беспокойство, ни на что не похожая тревога, которая перемешивается с уверенностью в том, что так ли, иначе, но все это он уже проживал когда-то. Словно бы на игровой доске города кто-то сделал ход, а Тисон этого вовремя не заметил. Две пешки, считая сегодняшнюю. Две съеденные пешки. Две девушки.

Да, тут может быть взаимосвязь, заключает он. Ему самому, бывало, случалось за столиком кофейни Коррео придумывать еще и не такие комбинации. Придумывать, а потом или сразу воплощать их, или исподволь подводить к ним противника. Молниеносные озарения. Внезапная вспышка постижения. Неторопливое перемещение фигур, безмятежное спокойствие дебюта, и вот – после неожиданного хода конем, слоном или даже пешкой – возникает угроза во всей ее очевидности, и у подножия дюны ветер заносит песком труп. И, осеняя все это черной тенью, сверху парит смутное воспоминание о чем-то уже однажды виденном или

пережитом, и перед глазами у тебя – ты сам: будто уже стоял когда-то на коленях перед оставленными следами и раздумывал над ними. Ах, если бы только удалось вспомнить, сказал себе Тисон, этого было бы довольно. Неожиданно он понял, что надо немедленно, безотлагательно вновь выйти за городские стены и провести розыск. Рокироваться, не прекращая размышлений. Но сначала вернуться, ни слова не говоря, к телу девушки, нашарить в песке закрученный спиралью металлический осколок и спрятать его в карман.

* * *

В это самое время в трех четвертях лиги⁴ к востоку от венты Хромого небритый и заспанный капитан Симон Дефоссё, прикомандированный к штабу артиллерии 2-й дивизии Первого корпуса императорской армии, чертыхаясь сквозь зубы, пронумеровал и подшил к делу письмо, только что доставленное с Севильского литейного двора. Полковник Фроншар, начальник заводской военной инспекции, сообщает, что установлена причина дефектов, обнаруженных в трех девятидюймовых гаубицах, которые предназначены для войск, осаждающих Кадис. И причина эта – саботаж: была умышленно нарушена технология литья, отчего и возникло то, что на языке металлургов называется раковиной. Стволы дают трещины уже после первых выстрелов. Четыре дня назад, как только Фроншар установил, в чем дело, двоих рабочих и мастера – все трое испанцы – расстреляли, но капитану Дефоссё от этого не легче. На пушки, ныне признанные негодными, он возлагал немалые надежды. И не только возлагал, но и разделял их с маршалом Виктором и другим начальством, которое наверняка будет по-прежнему требовать, чтобы он решил задачу – а задача эта ему теперь не по плечу.

– Капрал!

– Я!

– Передайте лейтенанту Бертольди – я буду наверху, на вышке.

Откинув старое одеяло, заменяющее дверь, капитан вышел наружу, забрался по приставной деревянной лестнице на самый верх наблюдательной вышки и устроился через бойницу на далекий город. Он стоял под солнцем с непокрытой головой, заложив руки за спину, под фалды мундира – темно-синего, с красными отворотами и обшлагами. Совсем не случайно наблюдательный пункт, оборудованный несколькими мощными подзорными трубами и современным микрометром Рошона с двойной окулярной призмой из горного хрусталя, находится именно здесь, на небольшом возвышении между артиллерийским фортом в Кабесуэле и батареей в Трокадеро. Капитан лично выбрал его после тщательного изучения местности. Отсюда – как на ладони весь Кадис и бухта до самого Исла-де-Леона, а в трубу можно разглядеть и мост Суасо, и Чикланскую дорогу. В определенном смысле это его владения. Теоретически, по крайней мере: земли и воды отданы под его юрисдикцию по прихоти богов войны и приказу императора. И на этом пространстве коса маршальской власти может порой наткнуться на камень его воли. На поле этой брани не сидят в окопах, не совершают контрмаршей и обходных маневров, не бросаются в штыковые атаки – здесь воюют расчетами, сделанными на клочках бумаги, параболами, траекториями, углами и математическими формулами. А еще один из многих парадоксов сложной войны, которая идет в Испании, заключается в том, что здесь, в кадисской бухте, неизвестному артиллерийскому капитану поручено вести эту совершенно особенную битву, где процентное соотношение компонентов в одном фунте порохового заряда или скорость воспламенения стопина⁵ значат больше, чем отвага десяти полков.

С суши противник неуязвим. Насколько известно Симону Дефоссё, никто пока что не осмелился сказать об этом императору прямо и открыто, однако дело обстоит именно так.

⁴ Лига – мера длины, равная 5572,7 м.

⁵ Стопин – род фитиля, хлопковая пряда, пропитанная порохом или селитрой.

Город соединен с материком лишь узкой перемычкой из песка и камня, протянувшейся почти на две лиги. Мало того, защитники Кадиса перекрыли этот единственный путь несколькими оборонительными сооружениями, перегородили его артиллерийскими батареями, толково расположили на флангах опорные пункты в дополнение к двум мощным фортам – в Пуэрта-де-Тьерре, где и начинается собственно город и где сейчас сосредоточено полтора ста орудий, и в расположенной посреди перешейка Кортадуре, где работы еще идут полным ходом. В самой точке примыкания к матерiku находится Исла-де-Леон, защищенный соляными копиями и каналами. К этому следует прибавить еще британские и испанские военные корабли на рейде и маломерные канонерские лодки, курсирующие вдоль побережья и в узких каналах. Короче говоря, для противодействия французам сосредоточены такие силы и средства, что атака с суши была бы для Бонапартовых войск чистейшим самоубийством, отчего они и ограничиваются позиционной войной по всей линии фронта и ждут – то ли благоприятного момента, то ли изменения ситуации на Полуострове в целом. Тем временем отдан приказ держать Кадис в плотной осаде, усиливая бомбардировки военных и гражданских объектов, причем те, кто приказ этот отдал, – французское командование и правительство короля Жозефа – иллюзий насчет действенности избранной ими тактики, надо сказать, не питают. Блокировать Кадис с моря невозможно, и, значит, главные ворота – порт – остаются открыты. Французские артиллеристы бессильны помешать проходу кораблей под разными флагами, и город продолжает торговать не только с мятежными испанскими провинциями, а и с целым светом, отчего возникает печальное противоречие: осажденные снабжаются лучше, нежели осаждающие.

Впрочем, для капитана Дефоссё все это если не безразлично, то, скажем так, особого значения не имеет. Чем кончится осада Кадиса, как вообще пойдут дальше боевые действия в Испании – все это на душевных его весах не перетянет самого дела, которым он тут занят. Дела, которое требует целиком всех его дарований вкупе с воображением. Симон Дефоссё на военной службе сравнительно недавно – прежде он преподавал физику в артиллерийской школе в Меце – и теперь, сменив партикулярное платье на капитанский мундир, видит свое предназначение в том, чтобы применить на практике науку, которой посвятил всю жизнь. «Мое оружие, – любит повторять он, – таблицы поправок, мой порох – тригонометрия». И город, и прилегающее к нему пространство – не военный объект, но техническая задача. Вслух капитан этого, разумеется, не говорит, ибо за такие слова недолго и под трибунал, но мыслит именно в этом ключе. Лично он, капитан Дефоссё, ведет войну не со взбунтовавшимися испанцами, но – с баллистическими проблемами, и враги для него – не мятежники, но препоны, чинимые ему законом всемирного тяготения, силой трения, упругостью текучей среды, температурой воздуха, начальной скоростью перемещаемого в пространстве предмета – в данном случае бомбы – и параболической траекторией, по которой летит он, прежде чем попасть – или не попасть – в требуемую точку. Дня два назад, во исполнение – до крайности неохотное – приказа, которые, как известно, не обсуждают, он объяснял все это французско-испанской комиссии, явившейся из Мадрида проверить, как организована осада.

Он и сейчас улыбается не без злорадства, вспоминая их визит. Комиссию, которая прибыла в гражданских экипажах из Пуэрто-де-Санта-Марии, сильно растрясло по дороге, протянувшейся вдоль реки Сан-Педро: четверо испанцев и двое французов устали, проголодались, мечтали поскорее отделаться от своего поручения и опасались, как бы противник в качестве «добро пожаловать!» не приветствовал их орудийным выстрелом из форта Пунталес. Выгрузились из экипажей, стали отряхивать от пыли свои треуголки, шляпы, сюртуки, боязливо озираясь по сторонам и стараясь – без особенного, впрочем, успеха – сохранять бестрепетную невозмутимость. Испанцы занимали какие-то посты в правительстве короля Жозефа; что же до французов, то один был не слишком важной шишкой при дворе, а второй, по фамилии Орсини, – эскадронный командир и адъютант маршала Виктора – выступал в роли гида. Он-то и попросил вкратце обрисовать положение. С тем, чтобы эти господа сами осознали, сколь

важна роль артиллерии при осаде, и могли бы доложить в Мадриде, что для успеха дела ни в коем случае не следует торопиться. «Ки ва пьяно, ва лонтано. – Орсини был корсиканец и большой балагур. – Ки ва форте, ва а ла морте»⁶. И тому подобное. Симон Дефоссё, получив такое предложение, ухватился за него. «Проблема в том, господа, – начал объяснения проснувшийся в нем преподаватель физики, – что брошенный, предположим, камень, если бы на него не действовал закон всемирного тяготения, полетел бы по прямой. Однако закон действует. И потому, когда газы, образующиеся при воспламенении порохового заряда, выталкивают из орудийного ствола снаряд, он летит по криволинейной траектории – по параболе, образуемой горизонтальным движением с постоянной скоростью, сообщенной ему в момент первоначального ускорения, и движением вертикальным, то есть свободным падением, скорость которого прямо пропорциональна времени пребывания в воздухе». Дефоссё спросил, следят ли за его мыслью, хоть и было очевидно, что следить-то следят, но понимают ее с большим трудом, а когда увидел, что члены комиссии закивали, решил прибавить жару. «Ибо проблема, господа, в том, что камень надо пустить с такой силой, чтобы дальность полета была максимальной, а время, в течение которого этот камень будет находиться в воздухе, – минимальным. Но хочу обратить ваше внимание, господа, на то обстоятельство, что мы-то бросаем не камень, но бомбу с зажженным фитилем, рассчитанным на определенный срок горения, по истечении которого и вне зависимости от того, достигнута цель или нет, происходит разрыв. Помимо этих сложностей существует еще сопротивление воздуха, отклонение из-за ветра, вертикальные оси, закон свободного падения и еще многое другое...» Он вновь осведомился, следят ли за его мыслью, и с удовлетворением убедился, что никто уже ни за чем не следит.

– Ну вот, теперь вы в курсе дела, а дело обстоит примерно так.

– Но мы хотим понять: попадают бомбы в Кадис или нет? – осведомился один из испанцев, выражая общие чаяния.

– Вот этим-то мы как раз и заняты, господа, – сказал капитан, скосив глаз на Орсини, который смотрел на извлеченные из жилетного кармана часы. – Эту задачу мы и стараемся решить в меру наших скудных сил.

И сейчас, прикинув к визирю микрометра, капитан артиллерии разглядывает стены Кадиса, сверкающего белизной посреди сине-зеленых вод бухты. «Как красавица, что манит близостью и дразнит недоступностью», – сказал бы на его месте человек, склонный, в отличие от Симона Дефоссё, к поэтическим красотам. На самом деле французские бомбы хоть и достигают неприятельских позиций и самого Кадиса, но – уже на излете и довольно часто даже не разрываются. Ни теоретические выкладки капитана, ни усердие и грамотность многоопытных императорских канониров покуда не смогли послать бомбу дальше чем на две тысячи двести пятьдесят туазов⁷, то есть ровно до восточной крепостной стены и примыкающего к ней квартала. И увеличить дистанцию выстрела не удастся никакими силами. Помимо того, большая часть бомб не взрывается: за двадцать пять секунд, проходящих от выстрела до предполагаемого разрыва, запал гаснет. И ускользающее техническое решение не дает Дефоссё покоя, лишает сна, заставляет ночами напролет при свечке корпеть над расчетами, а днем вязнуть в кошмаре логарифмов, исполняя греющий душу замысел – создать такую бомбу, чтобы запал ее горел дольше сорока пяти секунд, а она сама летела на три тысячи туазов. На стену, рядом с картами, диаграммами, таблицами поправок, листками расчетов, капитан прикрепил план Кадиса, где красными точками отмечены места разрывов, а черными – те, куда бомбы упали бесполезными чугунными шарами. И красных кружочков прискорбно мало, не говоря уж о том, что находятся они все, как, впрочем, и черные, исключительно в восточной части Кадиса.

– Жду ваших распоряжений, мой капитан.

⁶ Chi va piano, va lontano, chi va forte, va a la morte (*ит.*) – Тише едешь – дальше будешь, быстро едешь – к смерти прибудешь.

⁷ Туаз – старинная французская мера длины: шесть футов, около двух метров.

Это на площадке наблюдательного пункта появился лейтенант Бертольди. Капитан, который смотрел в визир и подкручивал медное колесико, замеряя высоту колоколен Кармен и дистанцию до них, переводит взгляд на своего субалтерна.

– Неприятные вести из Севильи... При отливке девятидюймовых мортир кто-то добавлял в формы олова.

Бертольди морщит нос. Это маленький толстенький итальянец с белокурыми бачками, обрамляющими чрезвычайно живое и веселое лицо. Уроженец Пьемонта, пятый год на службе в артиллерии императора Наполеона. В войсках, которые осаждают Кадис, звучит не только французская речь: здесь итальянцы, поляки, немцы, не говоря уж о вспомогательных частях, набранных из испанцев, присягнувших королю Жозефу.

– Случайность или саботаж?

– Полковник Фроншар пишет – саботаж. Но вы ведь знаете его... Мне, по правде говоря, не верится.

От беглой улыбки, промелькнувшей по лицу Бертольди, оно становится по-юношески милым. Симон Дефоссё привязан к своему помощнику, хоть тот и увлекается чрезмерно хересом и припортовыми *сеньоритами*. Они служат вместе уже год с тех пор, как после байленской⁸ катастрофы пересекли Пиренеи. Порою, когда Бертольди перебирает лишнего, он даже сбивается по рассеянности на дружеское «ты», и капитан не взыскивает с него за это.

– Да и мне тоже. Испанского содиректора литейного двора полковника Санчеса близко не подпускают к печам. За всем следит лично Фроншар.

– Тем не менее он поторопился снять с себя ответственность. В понедельник приказал расстрелять троих рабочих.

Бертольди, улыбаясь еще шире, делает такое движение, словно что-то отбрасывает от себя:

– Концы в воду.

– Именно так, – едко соглашается Дефоссё. – А мы остались без мортир.

– Полегче, полегче! У нас еще есть «Фанфан», – воздев указательный палец, говорит Бертольди.

– Есть. Но этого недостаточно.

Капитан во время этого диалога смотрит через боковую бойницу на ближний редут, защищенный от неприятельского огня турами и мешками с землей: там, вознеся жерло к небу под углом в сорок пять градусов, стоит укрытый парусиновым чехлом огромный бронзовый цилиндр, фамильярно называемый «Фанфан». Этим именем Бертольди окрестил, окропив мансанилей, опытный образец десятидюймовой гаубицы Вильянтруа-Рюти, способной доставлять восьмидесятифунтовые бомбы к восточным стенам Кадиса, но пока – ни на туаз дальше. Да и то – при благоприятном ветре. А если встречный – ядра только рыбу в бухте распугивают. Все расчеты, проведенные на испытаниях «Фанфана», должны быть учтены при отливке мортир в Севилье. Но убедиться в этом сейчас – по крайней мере, в течение известного времени – нет никакой возможности.

– Будем уповать на него, – покорствуя судьбе, говорит Бертольди.

– Да я уповаю, – качает головой Дефоссё. – Но «Фанфан» имеет свой предел. Да и я тоже.

Дефоссё, встретившись с ним взглядом, знает: лейтенант рассматривает его осунувшееся лицо, синяки под глазами. Густая щетина на подбородке тоже, надо полагать, мало способствует бравому виду.

– Вам бы надо побольше спать.

⁸ 16 июля 1808 г. в Андухаре (близ Байлена) произошла битва между испанскими и французскими войсками. 22 июля французы вынуждены были подписать акт о капитуляции.

– А вам, – смягчая свой суровый тон, Дефоссё усмехается, как сообщник, – поменьше пить. И ревностней исполнять свои прямые обязанностям.

– Да-да, мой капитан, я понимаю... Собираетесь сказать нездоровым, а честь собачиться с полковником Фроншаром предоставите мне... Только заявляю вам наперед – я лучше перебегу к неприятелю. То есть переплыву. Тем более что в Кадисе житье посытнее, чем у нас.

– А я тебя расстреляю, Бертольди. Своей рукой. И потом еще на могилке спляшу.

В глубине души Дефоссё знает, что севильская неудача не сильно меняет дело. За время, проведенное под стенами Кадиса, капитан успел убедиться: особые условия осады не позволяют должным образом использовать ни полевые орудия, ни гаубицы. Изучив схожие случаи – вот, например, осаду Гибралтара в 1782 году, – он принялся горячо ратовать за введение самых крупных калибров, то есть за применение мортир, но никто из начальства этой идеей не проникся. А тот единственный человек, которого ему удалось склонить на свою сторону, – командующий артиллерией генерал Александр Юро, барон де Сенармон, – поддержать его уже не может. Отличившийся в сражениях при Маренго, Фридланде и Сомосьерре генерал был чересчур самоуверен, испанцев – не отличаясь, впрочем, в этом отношении от всех французов – иначе как *шпаной* не называл и в грош не ставил. Это его и погубило: инспектируя батарею Вильятте, расположенную со стороны Чикланы напротив Исла-де-Леона, он пожелал лично опробовать новые лафеты. Появившись на редуте в сопровождении полковника Дежермона, батарейного командира капитана Пиндонелля и Дефоссё, он приказал всем шести орудиям начать обстрел испанских позиций в Гальинерасе, а на возражения Пиндонелля, принявшегося доказывать, что неприятель в этом месте хорошо укрепился, пристрелялся и немедля даст ответный залп, – снял шляпу и заявил, что именно ею поймает каждую гранату, что прилетит с той стороны.

– Так что отставить пререкания и открыть огонь.

Пиндонеллю ничего не оставалось, как подчиниться и отдать команду. И очень скоро выяснилось, что генерал Юро, пусть и всего на несколько дюймов, ошибся в своих расчетах со шляпой: первая же испанская бомба, разорвавшись как раз между ним, Пиндонеллем и Дежермоном, положила всех троих на месте. Дефоссё спасся чудом и потому лишь, что по малой нужде отошел в сторонку, за туры с землей, – они-то и приняли на себя осколки. Вместе с бароном де Сенармоном, как и остальные преданным земле возле скита Санта-Ана, похоронена оказалась и надежда капитана Дефоссё на применение под Кадисом тяжелых мортир. Впрочем, одно то, что он имеет возможность горевать об этом, должно служить ему утешением – и немалым.

– Голубь, – сказал Бертольди.

Дефоссё повел глазами по небу в том направлении, куда показывал его помощник. Да, так и есть. Со стороны Кадиса по прямой летел голубь: вот он пересек бухту, прошел высоко над неприметной голубятней, стоявшей возле казармы артиллеристов, и скрылся где-то за Пуэрто-Реалем.

– Не наш.

Офицеры переглянулись, и лейтенант с понимающей улыбкой тотчас отвел глаза. Бертольди – единственный, с кем Дефоссё делится профессиональными секретами. И один из них – в том, что без почтовых голубей невозможно было бы ставить на плане Кадиса черные и красные кружочки.

* * *

Корабли на картинах по стенам, корабли в стеклянных витринах – целый флот, кажется, собрался в сумраке маленького, обставленного красным деревом кабинета вокруг женщины, которая пишет за своим рабочим столом в прямоугольном пятне света, – узкий солнечный

луч проникает сквозь неплотно задернутые шторы. Женщину зовут Лолита Пальма, ей тридцать два года – к этому возрасту любая мало-мальски здравомыслящая жительница Кадиса уже расстается со всякой надеждой выйти замуж. Так или иначе, но брак уже довольно давно не владеет ее помыслами целиком – да и частично тоже. Занимает ее совсем иное. Например, в котором часу начнется прилив. Или где сейчас рыщет французский корсар, уже не раз замеченный между Ротой и бухтой Санлукар. То и другое связано с прибытием долгожданного корабля, за которым стоящий на террасе доверенный слуга наблюдает в телескоп с той минуты, как с башни Тавира оповестили, что некое судно приближается с запада на всех парусах и в двух милях к югу от Роты разворачивается для входа в бухту. Дай бог, чтобы это оказался «Марк Брут» и эта двухсотвосемидесятитонная четырехпушечная бригаantina с грузом кофе, какао, кошенили и прочего товара на общую сумму пятнадцать тысяч триста песо вернулась наконец, пусть и с двухнедельным опозданием, из Веракруса и Гаваны и была вычеркнута из особой, лишаящей арматоров сна и покоя ведомости, где все торговые суда, приписанные к порту Кадиса и не прибывшие к сроку, значатся в одном из четырех ее разрядов: *запаздывает, сведений не имеется, пропал без вести, затонул*. Иногда запись в одной из последних двух граф сопровождается комментарием окончательным и беспощадным: *со всем экипажем*.

Лолита Пальма, склонившись над листом почтовой бумаги, пишет письмо по-английски, иногда останавливаясь и сверяясь с цифрами, значащимися на той или иной странице толстого справочника валют, мер и весов, что лежит на столе рядом с чернильницей, остро очиненными перьями в серебряном стаканчике, песочницей, палочкой сургуча. Кожаный, еще отцовский бювар украшен монограммой «ТП» – Томас Пальма, а сверху листа стоит фирменный гриф «Компании Пальма и сыновья», основанной и зарегистрированной еще в 1754 году. Письмо будет отправлено в Североамериканские Штаты и сообщит о перебоях с поставками – 1210 фанег⁹ муки, отправленных из Балтимора в трюмах шхуны «Нуэва Соледад», прибыли в Кадис лишь неделю назад, то есть с полуторамесячной задержкой. Мука, перегруженная на другие суда, сейчас уже плывет к берегам Валенсии и Мурсии, где из-за нехватки продовольствия будет на вес золота.

Среди кораблей, что украшают кабинет, нет безымянных, и Лолита Пальма знает их все: одни – проданные, разобранные или затонувшие задолго до ее рождения – только понаслышке; на палубу других она поднималась еще девочкой вместе с братьями, видела, как, распустив паруса, они входили в бухту или отправлялись в плаванье, слышала, как в семейных разговорах беспрестанно упоминались их звучные, иногда загадочные названия – «Бирроньо», «Белла Мерседес», «Амор де Дьос»: этот запаздывает прибытием, того сильно потрепало штормом, третий между Азорами и Сан-Висенте нарвался на корсаров. И все это сопровождалось перечислением портов и товаров: медь из Веракруса, табак из Филадельфии, кожи из Монтевидео, хлопок из Ла-Гуайры... Диковинные имена заморских стран и далеких городов были так же привычны в этом доме, как названия кадисских улиц соборов или проспектов – Калье-Нуэва, Сан-Франсиско, Аламеда. Коммерческая корреспонденция, фактуры, накладные и расписки грузополучателей, складываясь в толстые папки, заполняли главное хранилище, расположенное в полуподвале, рядом со складом. Сколько помнит себя Лолита Пальма, в именах кораблей, в названиях портов всегда звучали надежда или тревога. Ей ли не знать, что от этих кораблей, от того, будет ли сопутствовать их плаванью удача, как поведут они себя в штормах и штилях, насколько отважно и умело будут отражать их команды бесчисленные опасности на море и на суше, зависит благополучие вот уже третьего поколения ее семьи. Тем более что один из кораблей был назван в ее честь и носил имя «Ховен Долорес»¹⁰. Теперь уже не носит. Но судьба ему

⁹ Фанега – мера сыпучих тел, неодинаковая в различных областях Испании; в Кастилии равна 55,5 л.

¹⁰ «Юная Долорес» (исп.). Лолита – уменьшительное от Долорес. Названия кораблей и судов в тексте по традиции не переводятся.

все же выпала счастливая: верой и правдой, с доходом и прибылью отслужив сперва британскому торговцу углем, а потом – семейству Пальма, благополучно избежав и ярости ураганов, и алчности пиратов, каперов или неприятеля, не принеся скорбной вести о гибели отца или мужа в семью ни единого из членов своих экипажей, которых на своем морском веку сменил немало, он безмятежно доживает его теперь, без имени и флага, на свалке кораблей в Карраке.

Стоящие сбоку от дверей английские часы-барометр в ореховом футляре глуховатым баском отбили три удара, и почти немедля звонче и серебристей отозвались им по всему дому другие. Лолита Пальма, дописав письмо, посыпала песком последние строки, дождалась, когда высохнут чернила. Потом, сложив вчетверо и разрезным ножом загладив по сгибам лист белой плотной бумаги – валенсианской, высшего качества, – написала на лицевой стороне адрес, капнула растопленным сургучом, осторожно вдавила печать. Неторопливо и очень тщательно – как и все, что она делает. Потом отложила письмо на деревянный, отделанный китовой костью поднос, поднялась со стула, прошуршав китайским набивным шелком домашнего халата с Филиппин – темного, длиной до пят, до атласных тужеек, – наступив при этом на свежий номер «Диарио Меркантиль», оброненный на чикланский ковер-циновку, который покрывает пол. Подобрала газету, положила ее на столик в кипу других – «Редактор Хенераль», «Эль Консисо» и еще одну иностранную, английскую или португальскую, за какое-то давнее число.

Слышно, как внизу, в патио, распевает молоденькая служанка – таскает воду из колодца с мраморной закраиной, поливает герани и папоротник. Приятный голос. Песенка – в Кадисе сейчас в большой моде эти куплеты, повествующие о любви маркизы к патриоту-контрабандисту, – звучит ясней и отчетливей, когда Лолита Пальма покидает свой кабинет, проходит по застекленной галерее второго этажа и по беломраморной лестнице поднимается на плоскую крышу. Контраст с царящим внутри дома полумраком поистине разителен: послеполуденное солнце ослепительно играет на выбеленных известкой стенах, калит керамические плиты пола, а вокруг исполинским хлопотливым ульем раскинулся, глубоко вдвинувшись в море, белый город. Дверь, ведущая в угловую башню, открыта, и Лолита Пальма, поднявшись по деревянным ступеням еще одной, на этот раз винтовой лестницы, оказывается на самом верху – на смотровой вышке, какие имеются во многих кадисских домах, ибо жизнь их хозяев – арматоров, купцов, комиссионеров – неразрывно связана с портом и морской торговлей. Отсюда можно заметить приближающиеся к гавани суда, а еще через некоторое время – даже рассмотреть в подзорную трубу, что за флажные сигналы подняты на реях: капитаны своим личным кодом уведомляют владельцев судна или груза, как проходило плавание, что лежит в трюмах. В городе, который, подобно Кадису, живет торговлей, в городе у моря, и в мирные дни, и во время войны остающегося столбовой дорогой, главным, если не единственным, источником снабжения, в городе, где по внезапной прихоти судьбы, по стечению обстоятельств делаются или теряются целые состояния и можно в полчаса разориться или, напротив, разбогатеть, если всего лишь узнать, кому принадлежит возвращающийся корабль и что он возвещает своими сигналами.

– Нет, вроде бы не «Марк Брут», – говорит наблюдатель.

Это старый Сантос, который служит в доме с незапамятных времен, начав еще при дедушке Энрико, и на одном из его кораблей проплавал девять лет матросом. Правая рука у него искалечена, но глаза сохранили прежнюю зоркость прирожденного моряка, способного определить капитана по одной лишь манере бросить рей, когда корабль лавирует, огибая отмели Пуэркаса. Лолита Пальма принимает из рук слуги длиннотелую подзорную трубу из золотисто-желтой меди – отличную английскую «Дикси», опирает ее на подоконник, следя за сближающимися кораблями: один, поставив все паруса, ловит свежий вест в правый борт, чтобы прибавить ходу и успеть прорваться в гавань, прежде чем другой выскочит ему наперез.

– Корсарская фелюга? – спрашивает Лолита Пальма, показывая на преследователя.

Сантос кивает, козырьком приставив к глазам покалеченную руку, – на кисти не хватает мизинца и безымянного. На запястье рядом с давним шрамом смутно виднеется выцветшая от солнца и лет татуировка.

– Да, французы заметили его на подходе и, сами видите, погнались во весь дух, хотят отсечь от гавани. Однако, думаю, не выйдет у них. Он уже слишком близко.

– Ветер может перемениться.

– Уж простите, донья Лолита, не соглашусь с вами... Ему осталось-то самое большее три четверти мили. Успеет проскочить в бухту... Я так полагаю, француз минут через пятнадцать отстанет.

Лолита Пальма разглядывает обнажившиеся отливом рифы на входе в бухту. Справа, поближе к берегу, между бастионами Сан-Фелипе и Пуэрта-де-Мар, стоят на якорях английские и испанские корабли: паруса на них убраны, реи спущены.

– Так ты считаешь, это не наша бригантина?

– Да нет, не наша. – Сантос мотает головой, не сводя глаз с моря. – Это скорее шебека.

Лолита Пальма снова смотрит в трубу. Видимость благодаря восточному ветру хороша, но различить флажки на гафеле не удастся. По расположению обеих мачт, у которых на таком расстоянии марсов не разглядеть, по прямоугольным, «греческим» парусам понятно одно – это не бригантина и, значит, не «Марк Брут». Куда ж он запропастился, с горьким разочарованием думает Лолита, отводя от глаза окуляр. Слишком высоки ставки в этой игре. Потеря корабля со всем, естественно, грузом нанесет ей сильнейший удар – причем уже второй за последние три месяца, тем паче что из-за осады прежний порядок страховки пересмотрен и никакая премия убытков не покроет.

– Я пойду, а ты стой и смотри, пока не убедишься наверное.

– Слушаю, донья Лолита.

Сантос, как и остальные старые слуги в доме и служащие компании, продолжает звать ее уменьшительным именем, а те, кто помоложе, – доньей Долорес или сеньоритой. А для кадисского общества, знающего ее с малолетства, она по-прежнему Лолита Пальма, внучка старого дона Энрико. Дочь Томаса Пальмы. Так представляют ее на вечеринках и приемах, так окликают на прогулках по Аламеде, по Калье-Анче, на воскресной полудневной мессе в соборе Святого Франциска: мужчины снимают шляпы, дамы слегка наклоняют головы в мантильях, не в меру расфранченные беженцы смотрят с любопытством – завидная партия... барышня из первой дюжины... в силу трагических обстоятельств вынуждена была впрячься в этот воз, тащить на себе компанию и дом. Ну разумеется, с хорошим образованием. Как и почти все здешние барышни из порядочных семей. Скромна и некичлива. Уверяю вас, ничего общего с родовитыми пустышками, которые только и знают, что заполнять именами кавалеров бальные книжки да наряжаться в ожидании того часа, когда папа продаст их вместе с титулом тому, кто больше заплатит. Потому что в этом городе видные, старинные фамилии гордятся не деньгами, а налаженным *делом*. У нас единственным видом знатности, говорят здесь, почитается увенчанный успехом труд, и своих дочерей мы воспитываем, как Господь заповедал: с малолетства прививаем им чувство ответственности за братьев, учим быть благочестивыми без ханжества, учим практическим навыкам и иностранным языкам. Потому что никогда не узнаешь наперед, не придется ли им помогать в семейном деле, вести корреспонденцию и что-то в этом роде; не доведется ли им, выйдя замуж или овдовев, брать в руки дело, которое кормит многие и многие рты, обеспечивая благополучие стольких семей, не говоря уж о процветании самого Кадиса. Да, и вот еще что, раз уж речь зашла о нашей Лолите... Дед ее был в городе человек известный, синдик и депутат муниципального округа, отец, что доподлинно известно, обучил ее и математике, и двойной бухгалтерии, и всяким премудростям насчет перевода мер, весов и валют из одной системы в другую... Помимо этого она говорит, пишет и читает по-англий-

ски, да и по-французски тоже. Уверяют даже, что и в ботанике разбирается, ну там, во всяких цветочках и растениях и прочем... Такая жалость, что женишок ей так и не сыскался...

Последняя фраза произносится обычно под занавес и как бы позволяет кадисскому *бомонду* не без известной доли злорадства взять небольшой реванш у Лолиты Пальмы, сколь бы выдающимися ни были ее дарования главы компании, хозяйки дома и члена общества: видное положение в мире коммерции, как всякому известно, плохо согласуется с тем, что принято называть «женским счастьем». Черета утрат лишь недавно позволила ей снять траур по отцу, два года назад унесенному последней эпидемией желтой лихорадки, и единственному брату, который самим Богом предназначен был возглавить семейное дело, да, к несчастью, пал в сражении при Байлене. Есть младшая сестра, рано, еще при жизни отца, вышедшая замуж за местного коммерсанта. Есть, разумеется, и мать. Ох, о матери разговор особый...

Лолита Пальма спускается с террасы. На площадке второго этажа с портрета на отделанной португальскими изразцами стене ей ласково и чуть насмешливо улыбается щеголеватый молодой человек во фраке с высоким воротом, с черным широким галстуком. Это друг ее отца, он представлял в Кадисе крупную французскую фирму и в 1807-м утонул в Трафальгарском проливе, когда его корабль разбился на отмелях Асейтеры.

Лолита Пальма, не спуская глаз с портрета, шагает по ступеням, легко скользит пальцами по мраморным, с едва заметными белыми прожилками перилам. Прошло уже пять лет со дня его гибели, но она не забыла этого юношу. Не забыла. Его звали Мигель Манфреди, и он улыбался в точности так же, как сейчас на полотне.

Внизу девушка по имени Мари-Пас – при Лолите она отправляет должность горничной – только что полила последние цветы. В четырехэтажном доме по улице Балуарте, в двух шагах от самого центра Кадиса, царит тишина. Толстые стены сложены из ракушечника; двойные, отделанные позолоченной бронзой двери с дверными молотками, отлитыми в форме кораблей, обычно открыты в просторный и прохладный мраморный вестибюль, ведущий в патио, вокруг которого размещаются магазин и контора, где в рабочие часы сидят служащие компании. Заботы по дому возложены на семерых слуг – старого Сантоса, кухарку, дворецкого, кучера, чернокожую невольницу, Мари-Пас и еще одну горничную.

– Как ты чувствуешь себя сегодня, мама?

– Как обычно.

В окутанной приятным полумраком спальне летом прохладно, зимой – тепло. Слоновой кости распятие над белой железной кроватью, большое «французское» окно с решетчатым балконом, а на нем – ленты папоротника, горшки с геранями и базиликом. Туалетный столик с зеркалом, другое зеркало, почти во всю стену, и еще зеркальный шкаф. Много зеркал, много красного дерева, то и другое – вполне в духе Кадиса. Классика. Образ Пречистой Девы дель Росарио над низким книжным шкафом – тоже красного дерева, – где стоит полный комплект альманаха «Коррео де лас дамас». Шестнадцать томов *ин-октаво*. Да, шестнадцать. Семнадцатый раскрыт и лежит на коленях женщины, которая, приподнявшись с подушек, подставляет дочери щеку для поцелуя. Пахнет миндальным притиранием для рук «Макасар» и пудрой «Франжипан».

– Ты что-то поздно сегодня. Я уже давно проснулась.

– Было много работы, мама.

– У тебя всегда много работы.

Лолита Пальма, поправив матери подушки, пододвигает стул и садится возле ее кровати. Терпения ей не занимать стать. На миг вспоминается, как в детстве она мечтала странствовать по свету на одном из тех белых кораблей, что медленно скользили по глади бухты. Потом мысли ее возвращаются к бригу, шебеке... или какой там еще парусник мчится сейчас на всех парусах, уходя от корсара?

* * *

Пепе Лобо, держась за вантину бизань-мачты, зорко наблюдает за маневрами фелюги, которая так и рвется наперехват, режет путь в бухту. И остальные девятнадцать моряков, сгрудившись на носу и у мачт, на которых подняты все паруса, не сводят глаз с француза. И если бы Пепе, капитан шебеки, пять суток назад вышедшей из Лиссабона с грузом соленой трески, сыра и масла, не знал столь досконально, на какие фокусы и трюки способно море, он, надо полагать, был бы поспокойней. Потому что француз еще далеко, а «Рисуэнья» идет очень ходко, благо волна и свежий ветер бьют ей в правый борт, по которому она, если ничего непредвиденного не случится, оставит вскоре Пуэркас и проскользнет в бухту под защиту крепостных орудий Санта-Каталины и Канделарии.

– Поспеваем, с запасом... – говорит помощник.

У него изжелта-зеленоватая нечистая кожа, шерстяной колпак на голове, недельная щетина. Время от времени он бдительно посматривает через плечо на рулевых у штурвала.

– Проскочим, проскочим... – настойчиво, как заклинание, повторяет он сквозь зубы.

Пепе Лобо предостерегающе вскидывает руку:

– Помолчи, сглазишь... Забыл закон корриды: «От хвоста до рога – недалеко дорога»?

Второй сплевывает за борт раздраженно, если не со злобой:

– Я не суеверен.

– Зато я суеверен. Так что заткнись, будь добр.

Повисает краткое молчание. Краткое и напряженное. Только слышно, как плещет вода, обтекая корпус. Шумит ветер в снастях, от килевой качки потрескивают мачты, гудят туго натянутые ванты. Капитан по-прежнему неотрывно глядит на корсара. А помощник – на него:

– Мне слышать такое оскорбительно. И я не допущу, чтобы...

– Заткнись, я сказал! Не то я сам заткну.

– Угрожаете?

– Именно.

Капитан произносит это как нечто само собой разумеющееся, по-прежнему не сводя глаз с французского парусника, а сам меж тем расстегивает как бы невзначай золотые пуговицы синего суконного бушлата. Ибо знает, сколько его матросов сейчас, подталкивая друг друга локтями, наострили уши, чтобы не пропустить ни словечка.

– Это нетерпимо! – говорит помощник. – Как причалим, рапорт на вас подам. Команда подтвердит...

Пепе Лобо пожимает плечами:

– Команда подтвердит, что мозги тебе вышибли за то, что пререкался с капитаном, имея на хвосте корсара.

За черным кушаком, обхватывающим поясницу, блеснула бронзой и полированным деревом рукоять пистолета. Оружие предназначено не для того, чтобы отбиваться от преследователей, а для поддержания порядка на собственном судне. Так бывает часто: кто-то из команды теряет голову – и как раз в тот самый миг, когда выполняется сложный маневр. И не впервые Пепе приходится приводить людей в чувство зуботычиной или пулей. Его помощник – человек беспокойный, недобрый, дерзкий – исключительно скверно переносит то обстоятельство, что командовать шебекой поставлен не он. Уже в четырех рейсах он нарывался на самую настоящую трепку, которую ни один морской трибунал не счел бы неправомерной, особенно если – вот как сейчас – неприятель в буквальном смысле наступает на пятки.

Вантина, за которую держался Пепе, стала дрожать и позванивать иначе. Менее ритмично. И ветер в парусине над головой зашуршал по-другому.

– Займись лучше своим делом. Брамсель полощется, не слышишь, что ли?

Капитан ни на миг, чем бы ни был занят, не спускает глаз с фелюги – тонн сто водоизмещением, узкий, будто заточенный, корпус, позволяющий идти в крутой бейдевинд, одна мачта наклонена к носу, другая – к корме, косые паруса и кливер надуты до каменной твердости. Как и на «Рисуэнье», на гафеле не вьется флаг, позволяющий судить о государственной принадлежности, однако сомнений нет: француз. Намерения у этого пса вполне определенные: корсар давно уже рыскал на подходе к бухте, хоронясь за Ротой, – и вот подстерег. С такой артиллерией и командой, как у него на борту, шебеку он уделает шутя: сумеет сблизиться на выстрел – пиши пропало. Стосемидесятитонная «Рисуэнья» – судно торговое, «купец», вооруженный всего лишь двумя четырехфунтовыми орудиями, не считая аркебуз и сабель у экипажа, и противопоставить паре двенадцатифунтовых карронад да полудюжине шестифунтовых пушек, которыми, по слухам, располагает француз, нечего. А подвиги его хорошо известны. До того как три недели назад «Рисуэнья» отправилась в Лиссабон, на счету корсара уже числились испанская шебека с богатым грузом, где среди прочего было девятьсот кинталов¹¹ пороха, и североамериканский бриг, захваченный через тридцать два дня после того, как вышел из Род-Айленда в Кадис, везя в трюме рис и табак. Как видно, требования кадисских негоциантов положить предел такому безнаказанному бесчинству действия не возымели. Пепе Лобо знает, что испанских и английских военных кораблей немного и заняты они тем, что охраняют акваторию порта, эскортируют караваны, перевозят войска и оружие. Что же касается канонерских лодок и других маломерных судов, от них при свежем ветре и приливе вообще толку никакого. Тем более что их используют для защиты пролива Трокадеро, либо отряжают по ночам сторожить бухту, либо отправляют в составе конвоев в Уэльву, Айамонте, Тарифу, Альхесирас. Между бухтой Санлукар и побережьем Кадиса крейсирует один лишь испанский корвет под бортовым номером 38 – и с мизерными, надо сказать, результатами. Ибо корсару ничего не стоит, утром отправившись на разведку, отойти всего на лигу от места своей укромной стоянки, обнаружить, если повезет, добычу, захватить ее и вместе с ней стремительно и безнаказанно юркнуть назад, к материковому побережью, на всем его протяжении занятому французами. Ну в точности как паук, сидящий в центре своей паутины.

Пепе Лобо посмотрел наконец вперед – на окруженный кольцом буроватых крепостных стен город с бесчисленными шпилями колоколен и смотровых вышек, торчащих над белыми домами, с замком Сан-Себастьян, с маяком – и в очередной раз удивился тому, как схож Кадис с севшим на мель парусником. До Пуэркаса и Диаманте – четыре мили, прикинул он, мысленно прочертив прямую от города к мысу Рота. «Грязные воды» – много подводных камней, особенно опасных при сильном отливе. . . Но ветер сейчас благоприятный, и когда шебека, тем же курсом пройдя меж отмелей и начав лавировать внутри бухты и гавани, окажется под прикрытием береговых батарей и стоящих на якоре британских и испанских военных кораблей – скоро уж покажутся верхушки их мачт, – будет «полная вода».

Союзники. . . Хотя Испания уже четвертый год воюет с Наполеоном, от слова «союзники» применительно к британцам лицо Пепе Лобо перекривливается. Он отдает им должное как морякам, но саму эту нацию терпеть не может. Другое дело, если бы капитан принадлежал к ней – был бы так же спесив и вероломен, – тогда, конечно, как говорится, и горюшка мало. Но судьба – или кто там еще заведует делами такого рода? – распорядилась так, что он родился испанцем, от галисийца-отца, служившего в старших боцманах на королевском военно-морском флоте, и матери-креолки; и на свет появился в Гаване, и чуть ли не с первого дня жизни видел море, и первые свои шаги сделал по палубе. Сейчас ему тридцать один год, а плавает он с одиннадцати лет, то есть большую часть жизни: сперва юнгой на китобое, потом марсовым, потом помощником и наконец, ценой многих жертв и усилий добыв себе патент, – капитаном; и все это время ждал каверз и подлостей от беспощадных пиратов, осененных «Юнион

¹¹ *Кинтал* – мера веса, равная 100 фунтам, или 46 кг.

Джеком». И нигде, ни в одном море мира нельзя считать себя в безопасности. Да уж, ему ли не знать англичан – алчных, высокомерных, неизменно готовых найти подходящий предлог, чтобы цинично нарушить любой договор и преступить клятву. Он на своей шкуре познал, до чего ж это бессовестная нация. И ровно ничего не меняет то обстоятельство, что из-за переменчивых обстоятельств войны и политических хитросплетений Англия сделалась союзницей Испании, воюющей с Наполеоном. Для него, Пепе Лобо, англичане – что в мирное время, что в громе оружейной пальбы – все равно всегда враги. Были и есть. Он дважды побывал у них в плену – сидел в плавучей тюрьме сперва в Портсмуте, а потом на Гибралтаре. И ничего им не забыл.

– Отстает, капитан.

– Вижу.

Ага, все же страх пересиливает досаду. Голос звучит едва ли не примирительно. Пепе Лобо краем глаза видит, как помощник, с беспокойством взглянув на вымпел, указывающий направление ветра, тотчас выжидающе смотрит на него.

– Думаю, нам стоило бы...

– Помолчи.

Капитан поднимает голову к парусам, потом оборачивается к рулевым:

– Полборта влево!.. Так держать. Помощник! Ослеп? Или оглох? Выбрать слабину у шкота!

Впрочем, в столь скверном настроении Пепе пребывает не из-за англичан. И даже не из-за фелюги, которая в последнем отчаянном усилии догнать «Рисуэню» забирает круче к ветру, заходит к юго-востоку, надеясь то ли на удачный залп, то ли на перемену ветра, а может, на то, что при неумело выполненном маневре у шебеки порвется какая-нибудь снасть. Все это Пепе не беспокоит. Он так уверен, что оторвался от корсара, что даже не приказывает изготавиться к стрельбе: впрочем, обе его пукалки все равно не способны дать отпор врагу, которому один раз шарахнуть из своей карронады – и будет на палубе пусто и чисто. Команда «к бою!» вконец обескуражит его матросов, а они и так мало на что пригодны: опытных моряков дай бог чтобы набралось полдесятка, все прочие же – портовая шваль, на вербованная чуть что не за одни харчи. Лобо однажды уже пришлось видеть, как в самой горячке боя эти, с позволения сказать, моряки полезли спасаться в трюм. В девяносто седьмом году ему это стоило потери судна и полного разорения, не говоря уж о портсмутских понтонах¹². Так что сегодня пусть лучше никто ничего не ждет, а просто делает свое дело. И очень славно было бы, ошвартовавшись сегодня у причальной стенки в Кадисе, никогда больше не видеть эту рвань.

Потому что начинается новая жизнь. Капитан знает, что идет на «Рисуэню» в последний раз. Отношения с ее владельцем, Игнасио Усселем, арматором с улицы Консуладо, и девятнадцать дней назад, когда отправлялся в рейс, были натянутые, а теперь если он сам или клиент, зафрахтовавший шебеку, заглянет в коносамент, то, пожалуй, и вовсе разорвутся. Потому что плохое вышло плаванье, на редкость неудачное: сначала попали в полосу почти полного безветрия, потом сильно трепало у Сан-Висенте, потом сломался ахтерштевень и пришлось больше суток отстаиваться у мыса Синес, потом начались всяческие неприятности с портовыми властями в Лисабоне – и вот в итоге «Рисуэня» возвращается домой с опозданием и груза у нее в трюмах вполовину меньше ожидаемого. Эта капля переполнит чашу терпения. Компания Усселя, как и многие прочие, служившая в Кадисе «крышей» для несколько французских торговых домов – до самого недавнего времени иностранцы не могли напрямую торговать с портами испанской Америки, – с начала войны испытывает значительные трудности. И сеньор Уссель, вздумав воспользоваться теми преимуществами, какие предоставляет война дельцам, не отягощенным излишней щепетильностью и избыточной совестью, решил на

¹² Зд.: разоруженное палубное судно, служившее местом заключения военнопленных.

грош пятаков наменять и сократить расходы за счет своих служащих: урезал и стал под разнообразными предложениями задерживать жалование. Так что арматор с капитаном в последнее время раздружились. И едва лишь «Рисуэнья» отдаст якорь на четырех-пяти морских саженях глубины, придется Пепе Лобо добывать себе хлеб насущный на другом судне. А найти новую работу в переполненном беженцами Кадисе, хоть там и выходят в море на всем, что может плавать, включая самое гнилое деревянное корыто, будет нелегко: капитанов – переизбыток, зато большая нехватка хороших матросов и кораблей, так что в портовых тавернах, досуха выдоенных всеобщей мобилизацией, можно отыскать только самый отъявленный сброд, готовый наняться за сколько дадут.

– Француз поворачивает!.. Отстал!

Шебека от носа до кормы огласилась торжествующим «ура!», рукоплесканиями, радостными криками. Даже помощник стащил с головы свой шерстяной колпак, с облегчением вытер пот со лба. Столпясь на бакборте, вся команда наблюдала, как корсар прекращает гонку: вот кливер прилег на мгновение к длинному бушприту – и, развернувшись с сильным креном на правый борт, фелюга двинулась назад, к мысу Рота. При повороте свет упал на нее под другим углом, позволив рассмотреть в подробностях длинную рею грот-мачты и весь черный, стройный, с низким кормовым свесом корпус этого стремительного и опасного корабля. Говорили, будто это португальский «купец», о прошлом годе захваченный французами у мыса Чипиона.

– Полрумба вправо, – командует Пепе рулевым.

Моряки улыбаются ему, одобрительно кивают. «Плевать мне сто раз на ваше одобрение, – думает Пепе Лобо. – И сейчас – как никогда». Выпустив вантину, он застегивает бушлат, пряча от взглядов пистолет за поясом. Потом поворачивается к помощнику, который не сводит с него глаз.

– Поднять флаг... Грот и фок на гитовы. Приготовиться через полчаса убрать марсели.

Покуда матросы убирают паруса и корабль меняет галс, а на верхушку бизань-мачты ползет выцветший торговый флаг – две красные полосы, три желтые, – Пепе Лобо вглядывается в далекий берег, к которому устремляется уже повернувшийся кормой француз. «Рисуэнья» идет ходко, ветер благоприятен, и нет нужды лавировать, проходя Пуэркас. А это значит, что шебека сможет войти в бухту, не подвергая себя опасности, либо сесть на рифы в узкостях бухты, либо подставить борт огню неприятельских батарей, которые с бастионов крепости в Санта-Каталине, расположенной на подступах к Эль-Пуэрто-де-Санта-Марии, обстреливают каждый корабль, чересчур близко, по мнению французов, подходящий к берегу. Крепость – в полулиге или около того к западу, то есть слева по носу шебеки, меж тем как подальше, по ту сторону Роты, в устье реки Сан-Педро уже невооруженным глазом можно различить полуостров Трокадеро и глядящие на Кадис жерла французских пушек. Из ящичка под нактоузом Пепе Лобо достает и раздвигает на всю длину подзорную трубу и ведет ею, словно очерчивая окружность, вдоль береговой линии – с севера на юг, – пока не упирается взглядом в форты: один, в Матагорде, бездействующий и заброшенный, стоит ниже других, на самом берегу, два других – Луис и Кабесуэла – подальше и повыше. Жерла орудий выглядывают из бойниц. Вот одна озарилась безмолвной вспышкой – и в следующее мгновение, описывая пологую дугу, через бухту в сторону Кадиса понеслась крошечная черная точка французской бомбы.

* * *

Полицейский комиссар Рохелио Тисон, как всегда, на людях приняв свою излюбленную позу – то есть спиной привалившись к стене, а ноги вытянув, – сидит в кофейне «Коррео» за шахматным столиком. В правой руке у него чашка кофе, левая ерошит бакенбарды, переходящие в усы. Посетители, при грохоте орудийного выстрела выскочившие на улицу Росарио, возвращаются, обсуждая происшествие. Бильярдысты вновь взялись за кии и шары слоновой

кости, публика в читальном салоне и за столиками в патио – за оставленные было газеты: все рассаживаются по местам, и вот уже опять поднялся обычный гул разговоров, меж тем как лакеи с кофейниками в руках начали новый обход.

– Где-то за Сан-Агустином упала, – говорит профессор Барруль, садясь на прежнее место. – И, как всегда, не взорвалась. Только народ перепугала.

– Вам ходить, дон Иполито.

Барруль смотрит сперва на полицейского, который не поднимает глаз от доски, а потом оценивает позицию.

– По части эмоций, комиссар, вы дадите сто очков вперед жареной камбале. Завидую вашему хладнокровию.

Тисон, отхлебнув глоток кофе, ставит чашку на стол, рядом со съеденными фигурами: шесть своих, шесть – противника. На самом деле невозмутимость его – не более чем видимость. Партия складывается не в его пользу.

– Эх, профессор, до бомб ли тут? Поглядите, куда ваш слон и пешка загнали мою ладью.

Оценив изощренный цинизм этой реплики, Барруль удовлетворенно хмыкает. У него – полуседая грива, длинное, лошадиное, лицо, пожелтевшие от табака зубы, меланхолические глаза за стеклами железных очков. Питает пристрастие к нюхательному табаку, растертому с красной охрой, носит черные, вечно собранные в складки чулки, сюртуки старомодного фасона, возглавляет Кадисское научное общество и обучает начаткам латыни и греческого мальчиков из хороших семей. Кроме того, он страстный любитель шахмат и за доской напроочь лишается обычного своего природного спокойствия и неизменной благорасположенности – в игре профессор свиреп и беспощаден, пышет к противнику неподдельной и смертельной злобой. В пылу схватки может дойти до прямых оскорблений, и тому же Тисону не раз приходилось выслушивать всяческие «будь же ты вовеки проклят... убирайся в адское пекло... пес смердящий... солнце еще не сядет, а я тебя четвертую, честью клянусь... шкуру сдеру заживо...». Забранки довольно витиеватые – дает себя знать образованность. Впрочем, комиссар принимает все это как должное: привык – они знакомы и играют в шахматы уже десять лет. В известном смысле можно даже сказать – почти дружат. Вот именно, «почти». По крайней мере, в том неопределенном смысле, который комиссар вкладывает в понятие «дружба».

– Вижу, двинули полудохлого своего коника?

– Ничего другого не остается.

– Остается, остается. – Профессор издает сквозь зубы сдавленный смешок. – Только я не скажу что.

По знаку Тисона хозяин заведения Пако Селис, наблюдающий за происходящим из двери на кухню, кивает слуге, и тот наполняет чашку новой порцией кофе, а рядом ставит стакан холодной воды. Барруль, сосредоточенно глядя на доску, качает головой, отказываясь.

– А не угодно ли вам будет такого вот отведать? – говорит он, двигая неожиданную пешку.

Комиссар недоверчиво изучает изменившуюся позицию. Барруль барабанит пальцами по столешнице: лицо его непроницаемо, но он посматривает иногда на противника так, что кажется – при первой возможности всадил бы ему заряд свинца прямо в грудь.

– Как я понимаю, сейчас будет шах, – нехотя признает комиссар.

– А следом – и мат не замедлит.

Побежденный со вздохом собирает фигуры. Победитель криво улыбается, наблюдая за этим.

– *Vae victis*¹³, – говорит он.

Лицо комиссара при виде такого ликования выражает смиренную покорность судьбе. Поневоле станешь стойком, если из каждых пяти партий профессор выигрывает три.

¹³ Горе побежденным (лат.).

– Вы просто невыносимы, друг мой.

– Плачьте, комиссар. Плачьте, как женщина, если не сумели защищаться, как мужчина.

Рохелио Тисон уже уложил в коробку черные и белые фигуры – так сваливают в братскую могилу трупы, перед тем как засыпать их негашеной известью. И на столе теперь пусто, как на прибрежном песке после отлива. Образ убитой девушки вновь возникает в голове комиссара. Двумя пальцами он нащупывает в жилетном кармане иззубренный осколок, подобранный давеча рядом с трупом.

– Профессор.

– Слушаю вас.

Тисон еще колеблется. Трудно выразить в словах то смутное ощущение, которое возникло у него на венте Хромого и с тех пор не отпускает. Вот он стоит на коленях возле тела девушки. Рокот волн и следы на песке.

– Следы на песке, – повторяет он вслух.

Барруль уже стер с лица кровожадную ухмылку. И теперь, вновь став прежним благодушным профессором, наблюдает за комиссаром с учтивым недоумением:

– Что, простите?

Не вынимая руки из кармана, где лежит витой кусочек металла, Тисон неопределенно и беспомощно пожимает плечами:

– Да я не знаю, как объяснить... Ну вот представьте себе шахматиста, который смотрит на пустую доску. И следы на песке.

– Да вы смеетесь надо мной! – восклицает профессор, поправляя очки. – Что за шарады такие? Головоломки...

– Вовсе нет, я совершенно серьезен. Говорю вам – шахматная доска и следы.

– И?..

– И больше ничего.

– Это что же – как-то связано с наукой?

– Не знаю.

Профессор достает из кармана эмалевую табакерку, но медлит открыть ее.

– К чему относится эта ваша доска?

– И этого не знаю. К нашему городу, я полагаю... И убитая девушка на берегу.

– Черт возьми, друг мой! – Барруль берет понюшку. – Вы что-то не в меру таинственны нынче... Кадис – это шахматная доска?

– Да. Или нет. Ну, в общем, более или менее.

– Расскажите, какие же там фигуры.

Прежде чем ответить, Тисон оглядывается по сторонам. Кофейня, дающая точнейшее представление обо всем, что происходит в осажденном городе, переполнена: жители окрестных домов, коммерсанты, ротозеи, беженцы, студенты, священники, чиновники, журналисты, военные, депутаты кортесов¹⁴, недавно перебравшиеся в Кадис с Исла-де-Леона. Мраморные столики, плетенные из ивняка стулья, медные пепельницы и урны-плевательницы, несколько кувшинчиков шоколада и, уж как водится, кофе, кофе, невероятное количество кофе, который беспрестанно мелется и варится на кухне, подается обжигаяще горячим и, все здесь пропитывая своим ароматом, перебивает даже сигарный дым, сизыми полотнищами висящий в воздухе. Женщины в «Коррео» допускаются исключительно во время карнавала, так что здесь одни мужчины, причем – самого разнообразного облика, происхождения и состояния: изношенная одежка бедных эмигрантов соседствует с элегантными костюмами богатых; ветхие штопанные и перелицованные сюртуки перемежаются с цветастыми мундирами местных волонтеров

¹⁴ *Кортесы* – в средневековых государствах Пиренейского полуострова сословно-представительные собрания – предтечи парламента, функции которого стали исполнять с XIX в.

и обтерханными – флотских офицеров, которым уже полтора года не выплачивают денежное содержание. Посетители, приветствуя или демонстративно не замечая друг друга, собираются в кучки в соответствии со вкусами, пристрастиями и интересами; громко переговариваются со стола на стол, обсуждают последние газетные новости, играют в шахматы или на бильярде, просто убивают время в одиночестве или в шумной компании, где говорят о войне, политике, женщинах, ценах на индиго, табак и хлопок, о последнем памфлете, где благодаря недавно обретенной свободе печати – многие этот закон горячо приветствуют, другие, которых тоже немало, поносят – высмеиваются Такой-то, Сякой-то, Эдакий и вообще все и вся.

– Не знаю, какие фигуры, – отвечает наконец Тисон. – Наверно, они все. И мы.

– А французы?

– Может быть, и французы. Не поручусь, что и они не имеют к этому отношения.

Профессор обескуражен и явно сбит с толку:

– К чему – «к этому»?

– Не знаю, как сказать... Ко всему происходящему.

– Ну так как же им не иметь к этому отношения? Они ведь взяли нас в осаду.

– Не о том речь.

Барруль, подавшись вперед, теперь рассматривает комиссара с особым вниманием. Потом очень непринужденно берет его нетронутый стакан, медленно выпивает воду. Вытирает губы извлеченным из кармана платком, глядит на пустую, расчерченную клетками столешницу и снова поднимает глаза на комиссара. Слишком давно они знакомы, чтобы путать шутливые речи с серьезными.

– Следы на песке... – повторяет он.

– Именно.

– А уточнить не можете?... Было бы нелишне...

Тисон как-то неуверенно поводит головой:

– Это как-то связано с вами, профессор... С чем-то, что вы сделали или сказали уже довольно давно... Потому я вам и рассказал это.

– Полноте, милый друг! Пока еще вы ничего толком не рассказали!

Новый пушечный выстрел, на этот раз раскатившийся где-то в отдалении, прерывает разговоры в кафе. От грохота, чуть смягченного расстоянием и стенами зданий, слегка задребезжали стекла.

– Это далеко, – замечает кто-то. – Где-то у порта.

– Проклятые лягушатники, – слышится в ответ.

На этот раз лишь несколько человек выбежали на улицу посмотреть, куда угодила бомба. И один из них, вернувшись, рассказывает – упала с внешней стороны стены, где-то возле Круса. Жертв и разрушений нет.

– Хорошо, я попытаюсь вспомнить, – не очень убежденно говорит Барруль.

Рохелио Тисон прощается и, забрав шляпу и трость, выходит на улицу, под уже меркнущий к вечеру свет: солнечные лучи ложатся почти горизонтально, трогая красными бликами беленые стены колоколен. На балконах еще стоят люди, глядят туда, где упала последняя бомба. Какая-то неприглядного вида, пахнувшая вином женщина сторонится, давая ему пройти, бормочет сквозь зубы бранные слова. Комиссару к такому не привыкать. Делая вид, что не слышит, он идет вниз по улице.

Пешки черные и белые, вдруг осеняет его. Вот оно! А Кадис – шахматная доска.

* * *

Мастерство чучельника – в сотворении жизнеподобия. Проникнувшись сознанием этого, человек, в клеенчатом фартуке поверх серого халата, с мерной лентой в руке, начал должные,

предписанные наукой и искусством приготовления. Красивым, убористым почерком занес в тетрадку результаты замеров от уха до уха и от головы до хвоста. Циркулем отложил расстояние от наружного до внутреннего угла каждого глаза, отметил цвет – темно-карий. А когда наконец закрыл тетрадь, то, оглядевшись, убедился – свет, проникающий сюда через приоткрытую на лестницу дверь из разноцветных стекол, меркнет и скудеет. И потому зажег керосиновую лампу, накрыл стеклянным колпаком, отрегулировал пламя так, чтобы распростертый на мраморном столе труп собаки был хорошо освещен.

Ответственный момент. Очень ответственный. Плохое начало может испортить всю работу. На шкуре со временем могут появиться проплешины, а если какая-нибудь козявка успела отложить яйцо в козьей шерсти или водорослях, применяемых для набивки, вылупившаяся личинка окончательно погубит дело. И никакое мастерство не поможет. В свете керосиновой лампы видно, как изуродовал ход времени иные произведения, стоящие здесь, в кабинете: казалось то ли несовершенство исходного материала, то ли губительное воздействие света, пыли, влаги, то ли переизбыток винного камня, извести, или природный цвет изменило скверное качество лаков. Наука тоже не всесильна. Эти неудачные работы, грехи молодости, плоды неопытности, стоят здесь тем не менее, чтобы засвидетельствовать – или напомнить? – что ошибки в этом – да, впрочем, и во всяком ином – виде деятельности чреваты опасными последствиями: вот они – неестественная поза, искажившая повадку, которая свойственна каждому зверю, небрежно отделанная пасть или клюв, неладно пригнанные друг к другу части каркаса... Все учитывается в стенах этого кабинета, хоть из-за войны и того, что творится в городе, трудно стало работать. И доставать новый, достойный внимания материал. Не остается ничего иного, как брать, что дают. Изворачиваться и придумывать на ходу.

Подойдя к черному шкафу, который стоит между дверью на лестницу, печью и витриной, откуда неподвижными глазами, сделанными из стекла и засохшего теста, смотрят на кабинет рысь, сова и обезьянка-тити, чучельник выбрал в наборе инструментов стальной пинцет и скальпель с рукояткой из слоновой кости. Вернулся к столу, склонился над трупом собаки – молодой, средних размеров, с белым пятном на груди и точно таким же на лбу. Отменные клыки. И вообще – превосходный экземпляр: на гладкой, нетронутой шкуре не проступило ни малейшего следа отравы, которой умертвили пса. Чучельник, сначала перерезав оптические нервы, ловко и очень осторожно извлек пинцетом из орбит оба глаза, почистил и засыпал глазные впадины загодя растолченной в ступке смесью квасцов, танина и минерального мыла. Вставил ватные шарики. Затем, убедившись, что все сделано как должно, перевернул пса на спину, заткнул все телесные отверстия паклей, отделил лапы от туловища и, проведя длинный надрез от грудины до живота, принялся потрошить.

В углу полутемного кабинета, под сидящими на жердочках чучелами фазана, сокола и бородатого ягнятника, едва виднеется развернутый на столике план Кадиса, напечатанный типографским способом, подробный, с двойной масштабной линейкой – во французских туазах и испанских варах. Сверху лежат компас, линейки, чертежный угольник. План расчерчен причудливыми кривыми, которые веером расходятся из одной точки на востоке, испещрен, будто оспинами, карандашными кружками и крестиками. Кажется, что над городом растянута паутина, а все эти точки и пометки похожи на запутавшихся в сети насекомых.

Медленно темнеет. Чучельник, осторожно надрезая, отделяет шкуру от костей и мышц. Через полуоткрытую на лестницу дверь доносится с террасы голубиное воркование.

2

Добрый день. Как поживаете. Здравствуйте. Пожалуйста, кланяйтесь от меня супруге. Добрый день. Будьте здоровы, рада была вас видеть. Поклоны всему семейству. Бесконечный обмен краткими любезными репликами, улыбки знакомых, иногда мимолетный разговор, из коего выясняется здоровье жены, успехи сына, негодии зятя. Лолита Пальма проходит в густой толпе людей – кто фланирует, кто остановился поболтать, кто разглядывает витрины. Позднее утро, кадисская улица Анча. Это душа города, его средоточие. Конторы, агентства, консульства. По тому, кто как ведет себя, кто о чем говорит, местных жителей нетрудно отличить от нахлынувших в Кадис беженцев: одни, временные насельники постоянных дворов и гостиниц на улицах Нуэва и Фламенкос-Боррачос, меблированных комнат и пансионатов в квартале Аве-мария, глазуют на витрины дорогих лавок, жмутся у дверей кофеен, другие, занятые делами, держат в руках портфели, папки, перелистывают на ходу газеты. Одни обсуждают ход военных кампаний, стратегические перемещения войск, поражения и невероятные победы, а другие – цены на хлопок в Нанкине, на индиго и какао, на кубинские сигары, которые, того и гляди, будут стоить как бы не по сорок восемь реалов за фунт. Что же касается депутатов кортесов, они в эти часы не слоняются по улице. Заседают в часовне Сан-Фелипе, расположенной в нескольких шагах отсюда, где на галерее толпится множество праздного народа – из-за французской осады многим в Кадисе решительно нечем заняться – вместе с дипломатами, обеспокоенными тем, что происходит: британский посол с каждым кораблем отправляет депеши в Лондон. И, выйдя из Сан-Фелипе не раньше двух пополудни, законодатели рассядутся в кофейнях и ресторанах, чтобы обсудить перипетии сегодняшнего заседания и мимоходом, как водится, сцепиться друг с другом сообразно политическим взглядам, притяжениям и отталкиваниям, ибо у каждого, будь он клирик или мирянин, либерал или консерватор, сугубый прагматик или неисправимый идеалист, относится ли к пылкому юношеству или к замшелому старичью, есть свой печатный орган и свой круг предпочтений и единомышленников. Здесь, как в капле воды, видна вся Испания вместе с ее заморскими территориями, из которых иные под шумок войны уже восстали.

Лолита Пальма только что вышла из самой изысканной в городе модной лавки на площади Сан-Антонио: заведение, раньше называвшееся «Парижская мода», теперь в соответствии с духом времени переименовано в «Испанскую». Кадисские дамы и барышни из высшего общества алчно вожделеют к его ассортименту, а вот владелица компании «Пальма и сыновья» там себе туалеты не заказывает – портниха и кружевница шьют ей наряды по эскизам, которые Лолита придумывает сама, вдохновляясь картинками из парижских и лондонских дамских журналов. В лавку она зашла, чтобы узнать, что произошло за день, да заодно и купить кое-что из аксессуаров и галантереи: горничная несет за нею в трех шагах две тщательно упакованные картонные коробки, где лежат полдюжины перчаток, полдюжины чулок и кружева для постельного белья.

– Благослови тебя Бог, Лолита...

– Здравствуйте... Кланяйтесь от меня жене...

Мимо и навстречу бесконечной вереницей проплывают более или менее знакомые мужские лица, снимаются шляпы. Такова она, эта главная улица города. Женщин в этот час здесь встретишь редко. Оттого Лолита и ловит на себе особо внимательные взгляды. Звучат приветствия, обнажаются и учтиво склоняются головы. Все, кто здесь хоть что-то собой представляет, знают эту сеньориту – она, хоть и принадлежит к относительно слабому полу, уверенно и умело держит бразды правления, ведет семейное дело, доставшееся ей по смерти деда и отца. В Кадисе только успевай поворачиваться – торговля с колониями, корабли, размещение капиталов, страховые выплаты и премии за морские риски. Лолита Пальма – не чета другим дамам-

негоцианткам, в большинстве своем вдовам, которые, если называть вещи своими именами, ограничиваются лишь ростовщицеством, ссужая деньги и взимая проценты. Она же ведет рискованную игру, где можно и сорвать крупный куш, и разориться. Умеет зарабатывать сама и дает работу другим. Свободна от долгов и полновластно распоряжается своим капиталом. Ни пятнышка на деловой репутации. Не дает ни малейшего повода для сплетен и пересудов о личной жизни. Платежеспособность, уважение, доверие. Состояние, которое на глазок, по самым скромным подсчетам, потянет миллиона на полтора. Нет сомнения, что она – плоть от плоти нашей, от тех десяти или пятнадцати семейств, которые и задают здесь тон. У нее есть голова на плечах – и, если верить слухам, плечи эти красивы: впрочем, никто покуда не мог похвастаться, что убедился в этом самолично. В тридцать два года – и все еще на выданье.

– Доброе утро... Будьте здоровы...

Вздернув подбородок, она идет по середине тротуара. Неторопливо и мерно отстукивают каблучки. Это ее улица и ее город. Темно-темно-серое платье оживляет единственная яркая деталь – голубая тесьма, которой отделана фланелевая мантилья. Мантилья, волосы, собранные на затылке в узел, а с висков вдоль щек спускающиеся локонами, да еще, пожалуй, вышитые серебром туфли – вот те немногие уступки, что сделаны ради выхода на люди; во всем остальном ее наряд строг, крайне сдержан, безупречно, как сказали бы англичане, «коррек-тен», удобен для работы и приема посетителей в конторе компании. Да, сейчас она здесь, на главной улице, но ведь и из дому-то вышла ради деликатного финансового вопроса, касающегося сомнительных векселей, полученных три недели назад; и вот часа не прошло, как в банке «Сан-Карлос» вопрос этот благополучно решился – за соответствующую мзду, разумеется. Перчатки, чулки и кружева из некогда «Парижской», а ныне – «Испанской моды» были куплены в ознаменование удачи. Скромно, пристойно, достойно. Как и все, что Лолита Пальма делает и думает.

– Поздравляю с прибытием «Марка Брута». Прочел в «Вихиа», что он уже в порту.

Это ее зять Альфонсо. Представитель компании «Соле и партнеры: английское сукно и товары с Гибралтара». Как обычно, высокомерно-холоден; облачен в орехового цвета фрак и бледно-лиловый жилет, шелковые чулки, держит на отлете камышовую трость из Индии. Шляпу не снимает, а лишь чуточку приподнимает, дотронувшись двумя пальцами до поля. Прошло уже шесть лет, как он женился на ее сестре Каридад, но сейчас, как и тогда, зять почти нестерпимо неприятен Лолите. Впрочем, «нестерпимо» – не то слово: они именно что терпят друг друга, поддерживая, пусть и формально, родственные отношения. Раз в неделю Альфонсо с женой навещают сеньору Пальму – да тем, пожалуй, все и ограничивается. Он остался очень недоволен суммой в девяносто тысяч песо, доставшейся ему от покойного тестя, а семейство Пальма – тем, как он, от большого ума да с малым доходом, распорядился этими деньгами и куда их вложил. Помимо того, семейственной любви не способствовала тяжба по поводу загородного дома в Пуэрто-Реале, на право владения коим Альфонсо претендовал по праву своей женитьбы. Завещание Томаса Пальмы было оспорено, дело перешло в руки стряпчих и нотариусов, но начавшийся судебный процесс из-за войны приостановился.

– Да, слава богу, прибыл. Мы уж смирились с потерей груза.

Лолита Пальма знает, что зятю глубоко безразлична судьба «Брута» и наплевать, на морском ли дне он окажется или во французском порту. Однако здесь, в Кадисе, полагается соблюдать приличия. И когда родственники встречаются на главной улице на виду у всего города, им непременно следует перемолвиться хотя бы несколькими словами. Здесь никакая компания не только что не добьется успеха, а и не выживет, не снискав себе доверия и уважения в обществе, которое, если не будет соблюдена форма, может лишить ее и того и другого.

– Как поживает Кари?

– Спасибо, хорошо. В пятницу повидаетесь.

Альфонсо, вновь прикоснувшись к полю шляпы, прощается и уходит вниз по улице. Весь, до кончика своей трости, сухой, жесткий, подобранный. Сердечности нет и в отношениях Лолиты с младшей сестрой. Нет и никогда не было. Лолита всегда считала, что Каридад – бездельница, думает лишь о себе и норовит въехать в рай на чужом горбу. Даже кончина отца, даже гибель брата – Франсиско де Паулы – не сблизили их. И в скорби, и в трауре каждая была сама по себе. И сейчас единственным связующим звеном, сколь бы формальным ни было оно, остается мать: еженедельный визит в дом на улицу Балуарте, шоколад, кофе, легкая закуска, пустота ни к чему не обязывающих разговоров, неизменно вертящихся вокруг погоды, французских бомб и цветов на балконах. Оживление вносит лишь появление кузена Тоньо, жизнерадостного, обаятельного холостяка. Когда Каридад вышла замуж за Альфонсо Солé, который тщеславием и чванностью пошел в отца, поставлявшего сукно для нужд местных ополченцев-волонтеров, а высокомерием и глупостью – в мать, сестры окончательно стали чужими друг другу. Ни Каридад, ни ее супруг так и не простили покойному Томасу Пальме, что не взял Альфонсо в семейное дело, а в обеспечение прав младшей дочери просто выделил ей некую долю и великолепный трехэтажный дом на улице Гуантерос, оцененный в триста пятьдесят тысяч реалов. В нем сейчас и живет чета Соле. «Довольно с них, – говорил отец. – А вот моя старшенькая, Лолита, получит все необходимое, чтобы двигаться вперед. Поглядите, какая она дельная, сметливая, усердная. Я могу на нее положиться, я доверяю ей, как никому больше: она умеет зарабатывать деньги и знает, как не потерять их. Это у нее с детства. Если в один прекрасный день решит выйти замуж, то, будьте покойны, не станет читать романы и часами напролет чесать языками с подругами в кондитерских, предоставив своему избраннику надрываться на работе. Уж будьте уверены. Она из другого теста».

– Чудесно выглядишь, Лолита, как, впрочем, и всегда... Рад тебя видеть. Как здоровье матушки?

Эмилио Санчес Гинеа – лет шестидесяти, тучный, с редкими седыми волосами – держит в одной руке шляпу, в другой – толстый пакет с письмами и документами. Проницательный взгляд. Одет на британский манер; по жилету, продернутая из кармана в карман меж пуговицами, вьется двойная цепочка от часов; во всем облике сквозит та чуть заметная усталость, что присуща деловым людям, достигшим определенного возраста и положения. В Кадисе, где в глазах общества нет греха тяжелее, чем неизвиняемая обстоятельством праздность, хорошим тоном считается легкая небрежность туалета, свидетельствующая о напряженном и достойном уважения трудовом дне: надо, чтобы галстук был полураспушен, а первоклассного сукна, превосходно сшитый сюртук – слегка помят.

– Я уже слышал, что корабль вернулся. Гора с плеч...

Эмилио Санчес – ее старший, добрый и многократно испытанный на верность друг. Соученик покойного Томаса, пайщик семейной компании, он разделяет с Лолитой риски и деятельно участвует в переговорах. Не так давно даже питал надежду породниться, женив на ней своего сына Мигеля, который стал ныне его компаньоном и счастливым супругом другой кадисской барышни. Добрые отношения между семьями Пальма и Гинеа неудавшийся брак не омрачил. Эмилио после кончины Томаса не оставлял заботой и советом Лолиту, делавшую первые шаги на поприще коммерции, да и сейчас всегда готов помочь, как только ей потребуются его опытность и здравомыслие.

– Ты домой?

– Нет, мне надо зайти в книжную лавку Сальседо. Может быть, уже пришли мои заказы.

– Пойдем, я провожу тебя.

– У вас, наверно, есть дела поважней?..

Старик жизнерадостно смеется в ответ:

– Я забываю обо всех делах, когда вижу тебя. Пойдем.

Она берет его под руку. По дороге обсуждают общее положение и некое предприятие, в успехе которого оба заинтересованы. Восстания в колониях породили множество сложностей. Больше, чем французская осада. Экспорт на другой берег Атлантики упал до пугающих величин, доходы сократились разительно, не хватает наличности, и многие коммерсанты уже попали в ловушку, принимая векселя, которые в результате почти невозможно опротестовать. Лолита Пальма тем не менее сумела возместить нехватку ликвидных средств за счет новых рынков: из Соединенных Штатов вывозит зерно и хлопок, в Россию ввозит товары, а используя единственное в своем роде положение Кадиса как перевалочной базы, дополняет торговые операции осторожными вложениями в векселя и страхованием морских рисков – на последнем как раз специализируется компания Санчеса Гинеа, в делах которой принимает участие компания «Пальма и сыновья», авансируя торговые рейсы через океан, а затем получая возмещение в виде процентов, страховых премий, надбавок за рассрочку и прочего. Опыт и присущий дону Эмилио трезвый расчет делают подобные финансовые операции очень рентабельными, тем более что дело происходит в городе, неизменно нуждающемся в наличных деньгах.

– Надо отдавать себе отчет, Лолита: рано или поздно война окончится, вот тогда и придется задуматься по-настоящему. А когда судоходство станет безопасным, будет уже слишком поздно. Наши с тобой соотечественники в колониях уже привыкнув торговать с янки и британцами напрямую. А мы здесь тем временем жалеем отдать им то, что они могут взять сами, своими руками... Хаос в Европе позволил им понять, что они в нас не нуждаются.

Лолита Пальма идет с ним под руку по улице Анча мимо широких подъездов, роскошных лавок, представительств торговых домов. В ювелирном магазине Бональто, как всегда, много покупателей. Снова и снова с ней раскланиваются прохожие, приветствуют знакомые. Позади несет пакеты горничная – та самая Мари-Пас, которая таким приятным голоском напевает куплеты, поливая цветы в патио.

– Мы сумеем восстановить с ними связи, дон Эмилио... Америка очень велика, общий язык и культуру так просто не разорвать... Мы всегда будем там. А новые рынки появятся непременно. Посмотрите на русских... Если царь объявит Франции войну, им понадобится все на свете.

Дон Эмилио с сомнением качает головой. Нет, дело это давнее, не вчера началось. Город потерял силу. Лишился смысла своего бытия. И случилось это, когда в 1778 году отменили монополию на торговлю с заморскими территориями. Вот тогда ему и подписали приговор. Автономию американских портов уже не отнимешь. И с креолами этими уже не совладать. А для Кадиса череда кризисов, а потом и война – это последние, что называется, гвозди в крышку гроба.

– Вы слишком печально смотрите на вещи, дон Эмилио.

– Печально? Сколько несчастий уже пережил город? Сначала колониальная война с Англией повредила нам бесконечно. Потом началась война с революционной Францией, а следом – опять с Англией... Вот это нас и доконало. Как много ждали от Амьенского мира¹⁵, а что вышло? Пшик! Сколько французских компаний, которые обосновались тут с незапамятных времен, отправились отсюда к дьяволу... Да, а потом еще одна война с англичанами, потом блокада и новая война с Францией. Печально смотрю, говоришь? Эх, милая моя Лолита, двадцать пять лет бросает нас из огня да в полымя.

Лолита Пальма с улыбкой нежно сжимает ему руку:

– Не обижайтесь, друг мой. Я не хотела...

– Как я могу на тебя обижаться? Этого только не доставало!

¹⁵ Амьенский мир (25 марта 1802 г.) был заключен между Францией, Испанией и Батавской республикой, с одной стороны, и Англией – с другой, завершив войну между Францией и Англией 1800–1802 гг. Обе стороны остались недовольны его итогами, и Амьенский мирный договор уже через год был расторгнут.

На углу улицы Амаргура, возле британского посольства, в одном доме с коммерческой конторой помещается маленькая кофейня, облюбованная иностранцами и флотскими офицерами. Этот квартал удален от восточной окраины Кадиса, где чаще всего падают французские бомбы, – сюда не долетело еще ни одной. За столиками у дверей несколько развеселых англичан наслаждаются хорошей погодой, листают старые лондонские газеты. Рыжие бакенбарды, вызывающе небрежная одежда. Два-три красных военных мундира.

– Вот погляди-ка ты на наших союзничков. – Дон Эмилио понижает голос. – Добились-таки от Регентства и от кортесов отмены всех ограничений на торговлю с Америкой. Свой интерес соблюдают везде и всюду, свою линию гнут неуклонно – и нигде в Европе хорошего правительства не допустят. С появлением на Полуострове герцога Веллингтона они убивают одним выстрелом не двух, а целых трех зайцев – держат Португалию, изматывают Наполеона, а попутно навязывают нам долг, который не преминут взыскать, когда время придет. Дорого нам обойдется этот альянс.

Лолита Пальма показывает своему спутнику на газетный киоск посреди улицы: вокруг него начинается суета – только что доставили свежий выпуск «Диарио Меркантиль», и покупатели, толпой обступив продавца, буквально рвут у него из рук номера.

– Может быть, вы и правы. Но взгляните... В городе бурлит жизнь, процветает торговля...

– Все это дым, Лолита... Чуть только снимут блокаду, эмигранты исчезнут, а нас, как и прежде, останется шестьдесят тысяч. Что тогда делать тем, кто сейчас безбожно взвинтил цены в гостиницах и дерет втридорога за бифштекс? Тем, кто наживается на чужой нужде? Вот они и торопятся урвать свое сегодня, пока не наступило завтра.

– Но ведь кортесы действуют...

– Кортесы твои, – бурчит без снисхождения старый негоциант, – живут как на другой планете. Конституция, монархия, Фердинанд Седьмой... все это не имеет отношения к делу. Разумеется, Кадису остро нужна свобода, кто ж будет спорить. Свобода и прогресс. На этом, в конце концов, зиждется всякая торговля. Однако же с новыми законами или без них, будет ли установлено, что право монарха имеет божественное происхождение, или что короли – суть всего лишь хранители национального суверенитета, положение не изменится: порты испанской Америки – в чужих руках, а Кадис – в руинах. Попомни мое слово: пройдет эта конституционная корь – замычат коровы тощие.

Лолита Пальма смеется. Смех ее девически звонок. Звучен, чистосердечен, непритворно весел.

– А я-то вас всегда считала либералом!

Дон Эмилио, не выпуская ее руки, останавливается посреди улицы.

– А кто ж я, черт возьми? Самый либерал и есть! – Он озирается с негодованием, будто отыскивая того, кто дерзнет оспорить это утверждение. – Однако из племени тех либералов, которые предлагают труд и процветание. Политическими восторгами и сам сыт не будешь, и народ не накормишь. А кортесы твои много просят да мало дают. Сама посуди – сейчас у нас, кадисских негоциантов, они вымогают миллион песо на военные расходы! И это после того, как столько уже вытянули допрежь! А между тем государственный советник получает сорок тысяч жалованья в месяц, а министр – восемьдесят!

Они продолжают путь. Книжная лавка Сальседо – неподалеку, посреди других, в изобилии расположенных на площадях Святого Августина и Почтовой. Проходят, иногда задерживаясь у витрин. В лавке Наварро выставлены несколько неразрезанных книг в бумажных обложках и два огромных тома в роскошных переплетах: надпись на титульном листе одного гласит: «Антонио Солис. История завоевания Мексики».

– При такой перспективе, – говорит дон Эмилио, – самое милое дело – вложить деньги во что-нибудь надежное. Я имею в виду недвижимость – дома, землю... Сохранить деньги в том, что останется стабильным и после войны. Прежней коммерции – такой, что была во

времена твоего деда или как понимали ее мы с твоим отцом, никогда уже больше не будет... Без Америки Кадис лишен смысла.

Лолита Пальма рассматривает книги на витрине. Что-то он чересчур разошелся сегодня, думает она. Обо всем этом было уже бесчисленно говорено, а старик – не из тех, кто станет терять время в пустопорожних разглагольствованиях, да еще в рабочие часы. Для дон Эмилио пять минут, не принесшие дохода, – пропащие пять минут. А они беседуют уже добрых четверть часа.

– Мне кажется, вы что-то хотите мне сказать...

На миг у нее возникает опасение, что речь пойдет о контрабанде: за последние месяцы Лолита отвергла три таких предложения. Впрочем, ей ли не знать, что ничего уж такого особенного здесь нет. Дело житейское, дело обыденное. Контрабанда цветет здесь чуть ли не с той поры, как первые галеоны пошли в Индии и обратно. Конечно, совсем другое дело, когда кто-то из негоциантов, не скованных моральными запретами, еще с начала блокады стал перегонять контрабанду в области, оккупированные французами. Фирма Санчеса Гинеа репутацию свою такими делами, конечно, не порочит, но все же случается, что в каком-нибудь глухом месте побережья, подальше от войны и действующего законодательства, выгрузит из трюмов кое-какой товарец, не платя при этом таможенных сборов и пошлин. Среди респектабельных граждан Кадиса это называется «левачить».

– Полноте, друг мой, не ходите вокруг да около!

Дон Эмилио не отрывает глаз от витрины, хотя Лолита знает, что история покорения Мексики занимает его не слишком. Он выжидает. И лишь через минуту начинает. Как ему кажется, Лолита поступает верно. Урезает расходы, отказывается от всяческих роскошеств. Это мудро. Понимает, что процветание не может длиться вечно. Сумела сберечь самое трудное и самое главное – кредит. И дед, и отец, будь они живы, могли бы гордиться ею. Да что он говорит! «Могли бы!» Они и гордятся, глядя на нее с небес. И прочее в том же роде.

– Чувствую, вы намерены подсластить мне пилюлю, дон Эмилио, – снова смеется она, не отпуская его руки. – Я умоляю вас, довольно околичностей, перейдите наконец к сути дела.

Старик смотрит в землю, на глянцево сверкающие носки своих сапог. Потом – снова на витрину. И наконец, решившись, обращает взгляд к ней:

– Я намереваюсь снарядить корсара... Купил патент.

Произнеся это, он жмурится в комическом ужасе, как бы ожидая удара. Потом снова устремляет на Лолиту вопросительный взгляд: что, мол, скажешь на это? Та лишь качает головой: об этом тоже давно и не раз было говорено. Да и о патенте доходили до нее слухи. Ах, старый лис! А то будто не знает, что ей не по душе инвестиции такого рода. Она не желает мешаться в эти дела и иметь с этими людьми что-либо общее.

Санчес Гинеа воздевает свободную руку, одновременно как бы и прося прощения и возражая:

– Это коммерция, милая моя девочка. А люди – в точности такие же, как и те, кто плавают на торговых судах и с кем тебе приходится иметь дело ежедневно. А от войны ты страдаешь не меньше, чем все прочие.

– Терпеть не могу пиратства. – Лолита, выпростав руку из-под его локтя, сжимает сумочку, словно обороняясь ею. – Мало мы сами натерпелись от них?

Дон Эмилио принимается убеждать ее. С непритворным жаром приводит один довод за другим. Корсар – не пират. Лолита ведь и сама знает, что корсар действует по закону, притом – писаному. И пусть она вспомнит, какого мнения придерживался на этот счет Томас, ее покойный отец. В восемьсот шестом году они с ним при половинном участии снарядили корсара, и все получилось просто превосходно. И сейчас опять момент благоприятный. Пусть подумает, какие соблазнительные премии сулит взятый с бою неприятельский корабль с грузом. Да и сами грузы будут как нельзя более кстати. И все – совершенно легально, прозрачно, как горный

хрусталь. Вопрос только в том, чтобы правильно вложить средства, как вложил их он, владелец «Санчес Гинеа и К°». Это всего лишь *дело*, притом весьма доходное. Очередной «морской риск», не более того.

Лолита Пальма смотрит на их отражение в витрине. Она знает: дон Эмилио не больно-то нуждается в ее средствах, по крайней мере – в безотлагательном их вложении. Скорее, он и вправду хочет удружить ей и, как близкий их семье человек, предлагает выгодную инвестицию. В Кадисе множество негоциантов, готовых финансировать этот проект, однако же из всех возможных претендентов старик предпочел ее. Основательную и серьезную. Уважаемую и надежную. С неограниченным кредитом, в том числе – и доверия. Дочь своего старого друга Томаса.

– Дайте мне подумать немного, дон Эмилио.

– Ну разумеется. Думай.

* * *

Капитану Симону Дефоссё несколько не по себе. Никак нельзя сказать, что прежде он водил знакомство с генералами, а теперь перед ним оказались сразу несколько. Оказались – или свалились как снег на голову. И пусть все они жадно ловят каждое его слово, это нимало не избавляет от скованности. Утром в сопровождении усиленного эскорта гусар 4-го полка в Трокадеро нагрянул с инспекцией маршал Виктор, герцог Беллюнский, начальник его главного штаба Семелье, дивизионные генералы Рюффен, Вильят, Леваль и непосредственный начальник Дефоссё генерал Лезюер, командующий артиллерией Первого корпуса, сменивший убитого барона де Сенармона.

– Задача в том, чтобы наш огонь покрывал всю территорию Кадиса, – объясняет теперь Дефоссё. – До сих пор нам это не удавалось, мы работаем на пределе досягаемости и сталкиваемся сразу с несколькими сложностями. С одной стороны – слишком велика дальность, с другой – слишком быстро горит запал... Это очень важно, поскольку по моему приказу город обстреливается разрывными ядрами, действующими по типу гранат. В них применяется запал замедленного действия, но дистанция такая, что бомбы взрываются в полете, еще до того, как поразят цель. И потому разработана запальная трубка новой конструкции: горит медленнее и в полете не гаснет...

– Уже имеется в наличии? – осведомился генерал Леваль, командир 2-й дивизии, стоящей в Пуэрто-Реале.

– Будет через несколько дней. Теоретический срок горения должен превысить тридцать секунд, но как получится на деле – неизвестно... Бывает, что сопротивление воздуха иногда увеличивает скорость горения, а иногда – просто гасит запал.

Капитан замолкает. Раззолоченные генералы выслушали его внимательно и теперь смотрят, как бы выжидая, не скажет ли еще что-нибудь. Маршал сидит за столом, прочие пристроились кто где, Дефоссё – стоит. На грубо сколоченном столе расстелены подробные планы Кадиса и прилегающей к нему части залива. Из открытого окна доносятся голоса саперов, строящих эспланаду для новой батареи. В квадрате солнечного пятна на полу выются вокруг раздавленного таракана мошки. Здесь, в блиндажах и траншеях Трокадеро, те и другие водятся в удивительном изобилии. Нет недостатка также и в крысах, клопах, блохах и москитах, одолевающих императорскую армию.

– Тут возникает еще одна сложность. Дальность. Нужно, чтобы бомба летела на три тысячи туазов, то есть пересекала из конца в конец город, в котором, таким образом, не остается зон, недосягаемых для нашего огня. С тем, чем располагаю сейчас, я не могу гарантировать дальность, превышающую две триста, да притом следует брать в расчет ветры из бухты, которые усиливают боковой снос и сокращают дистанцию. И следовательно, мы покрываем всего лишь... видите?... вот отсюда досюда...

Он показывает участки в восточной части города – Пуэрта-де-Мар, кварталы вокруг таможни. Обходится без названий: все и так знают Кадис – целый год смотрят на него в подозрительные трубы. Указательный палец прочерчивает линию перед крепостными стенами и, не углубляясь дальше нескольких улиц в квартале Пополо, возле Пуэрта-де-Тьерры, медленно проползает по бумаге, обводя зону поражения. Потом капитан отдергивает руку и поднимает глаза на своего прямого начальника – генерала Лезюера, безмолвно уведомляя, что «все прочее решать вам, ваше превосходительство», и прося разрешения удалиться. Вернуться к своим расчетам, подозрительным трубам и почтовым голубям. То есть делом заняться. Никуда он, разумеется, не уходит. Предвидит, что самое увлекательное еще впереди.

– Корабли противника, стоящие в бухте на рейде, находятся в пределах досягаемости, – говорит генерал Рюффен. – Почему не обстреливаете их тоже?

Командир 1-й дивизии Франсуа Амабль Рюффен сухощав, точен в движениях, сосредоточен, но взгляд у него при этом отсутствующий. Среди прочих сражений был под Аустерлицем и Фридрихсдорфом. В войсках его любят за то, что никогда не порет горячку, бережет солдат. Ему ровно сорок лет – совсем немного для человека в его чине. Храбр. У него прямо на лбу или еще где написано, что надо будет – умрет, но не отступит. Дефоссё объясняет: по кораблям он не бьет, потому что они рассредоточены: английские – подальше от города, испанские – поближе, но в данном случае это не важно. С такой дистанции поразить отдельно стоящую цель – задача почти невыполнимая. Стрельба-то ведется по площадям, и потому одно дело – обрушить бомбу на город, куда попало, в любое место, как бог на душу положит, и совсем другое – накрыть определенный объект. В этом случае попадание почти невозможно. Взгляните хоть, к примеру, на здание таможни. Да-да, вот здесь. Да, это в нем сейчас расположилось правительство мятежников. Так вот, его не накрыли ни разу.

– С тем, что имеется, – заключает он, – увеличения дистанции и точности мы достичь не можем.

Капитан вроде бы хочет что-то прибавить к сказанному, но не знает, стоит ли, и генерал Лезюер, слушавший его вместе со всеми остальными, молча вскидывает бровь, как бы предостерегая: «Не стоит. Себе жизнь не осложняй, да и мне тоже. Это обычная инспекционная поездка. Вот и докладывай начальству то, что оно хочет услышать, а остальным займусь я. И все».

– Если же, и вовсе пренебрегая точностью, всецело сосредоточиться на дальности, то, я полагаю, наилучшие результаты даст применение мортир, а не гаубиц.

Все-таки вымолвил. И не жалеет об этом, хотя Лезюер готов испепелить его взглядом.

– Ни к чему это, – говорит генерал сухо. – В ноябре проводили испытания двенадцатидюймового «Дедона», отлитого в Севилье... Полный провал. Не покрывали и двух тысяч туаза.

Маршал Виктор, откинувшись на спинку стула, строго смотрит на своего командующего артиллерией. Тот славится дотошной требовательностью, страстью к порядку и принадлежит к числу тех, кто суется в воду, лишь досконально разведав брод. Маршал знает его со времен осады Тулона, когда сам еще звался не Виктор, а Клод Перрен, а вместе с ними по редутам роялистов и кораблям англо-испанской эскадры садил из пушек их сослуживец, некто капитан Бонапарт. «Не мешай художнику самовыражаться, – означает этот взгляд, – тебя я вижу рядом ежедневно, а этот Дефоссё – дельный малый, ну или, по крайней мере, слывет таким. Мы и приехали сюда затем, чтобы его послушать». После этой безмолвной отповеди Лезюеру остается лишь замолчать, а герцог Беллунский оборачивается к капитану, как бы приглашая его продолжать. И тот продолжает:

– Я своевременно предупреждал, что «Дедон» никуда не годится. Орудие не обеспечивает точности наводки, очень опасно в обращении... Тридцать фунтов пороха, которые надо в него забить, – это слишком много, такое количество сразу может не воспламениться, а если

уменьшить – сократится дистанция выстрела... По дальноточности уступает даже полевым пушкам.

– Одно слово – Дедон... – замечает маршал. – Ничего иного и ждать от него нельзя...

Все смеются, кроме Дефоссё и Рюффена, который все с тем же отсутствующим видом уставился в окно, словно видит там нечто особенно интересное. К генералу Дедону вся императорская армия питает дружную неприязнь. Высоколобий теоретик и ученый-артиллерист своим благородным происхождением и изысканными манерами донельзя раздражает тех, кого революция вынесла наверх с самых низов, – и прежде всего Виктора, который тридцать лет назад в Гренобле начал службу барабанщиком, за Маренго получил золотое оружие, а при Фридланде заменил раненого Бернадотта. Все, от кого это зависит, по мере сил стараются не давать хода проектам Дедона и стремятся похоронить его мортиры.

– Тем не менее сама идея, лежащая в основе, совершенно справедлива, – замечает Дефоссё с апломбом высокого профессионала.

Вслед за этими словами повисает молчание столь плотное, что даже генерал Рюффен у окна, слегка заинтересовавшись, оборачивается. Лезюер же, в стремлении унять своего подчиненного подняв уже не одну бровь, а обе, буквально буравит его глазами: они горят гневом и сулят многое.

– Проблема неполного воспламенения крупного порохового заряда возникает у пушек и других систем, – невозмутимо продолжает Дефоссё. – Возьмите, например, гаубицы Вильянтруа или Рюти.

Новая пауза. Герцог Беллюнский, не сводя пытливого взгляда с капитана, в задумчивости запустил пальцы в свою седую львиную гриву, так тщательно уложенную испанским цирюльником в Чиклане. Дефоссё ли не знать, чем грозит пренебрежительный отзыв об этих пушках – их технические достоинства взхлеб расхваливал его начальник Лезюер. Но огромные надежды, которые возлагают на них в штабе, капитан считает несбыточными, а проще говоря – полной чушью.

– Различие все же есть, и коренное, – говорит маршал. – Император считает, что взять Кадис удастся именно благодаря этим гаубицам... Он лично прислал нам эскизы и чертежи полковника Вильянтруа.

В тишине слышно лишь, как жужжат мухи. Все взгляды вонзаются в капитана, а тот слглатывает слюну. Что я здесь делаю, проносится у него в голове. Какого черта меня душит жесткий ворот неудобного и тесного мундира, какого черта я торчу здесь и развожу дурацкие рацеи, вместо того чтобы преподавать физику в Меце? Несчастный я человек... Как меня занесло в эту дыру, в самую что ни на есть европейскую глухомань? И зачем? Чтобы играть в солдатики с этими густо раззолоченными вояками, желающими слышать от меня лишь то, что им нравится? Вернее, им так кажется. Скотина Лезюер: понимает суть вопроса не хуже меня, знает, что я прав, а бросил меня им на растерзание...

– При всем моем уважении к мнению императора я считаю, что Кадис следует обстреливать не из гаубиц, но из мортир.

– При всем вашем... – с улыбкой повторяет маршал.

От этой задумчивой улыбки любого французского солдата или офицера проймет дрожь. Однако перед ним стоит человек глубоко штатский, даром что в военном мундире. Солдат на час – на то время, пока проводятся эти испытания. Сейчас полигоном их стал Кадис. Вот Дефоссё и привезли сюда из Франции, нацепив капитанские эполеты... Нет, его царствие явно не от мира сего.

– Ваша светлость, даже наши неудачи со взрывателями имеют к этому самое прямое отношение... Запалы для гранат, на которые рассчитаны гаубицы, очень несовершенны... А бомбу большего калибра, предназначенную для мортиры, можно будет снабдить и взрывате-

лями большего размера. Кроме того, устройство их таково, что пороховой заряд весь целиком будет взрываться в камере в момент выстрела, что увеличит дальность.

Командующий Первым корпусом по-прежнему улыбается. Однако на лице его проступает любопытство. Когда у маршалов, генералов и прочего начальства пробуждается это чувство – берегись, добра не жди.

– Император считает иначе. Не забудьте, он тоже артиллерист и весьма гордится этим. Да и я принадлежу к этому роду войск.

Дефоссё кивает, но он уже не в силах сдержать себя. Его будто обдаёт жаром, ему нестерпимо хочется рвануть крючки высокого тугого воротника. Как бы то ни было, другого случая выложить все начистоту может и не представиться. Разве что в камере военной тюрьмы или перед расстрельной командой. И вот, раза два глубоко вздохнув, он отвечает. Нет, он ни в коей мере не подвергает сомнению компетентность его величества императора, равно как и его светлости герцога Беллюнского в артиллерийском деле. Именно поэтому и осмелился сказать то, что сказал, основываясь на собственных познаниях и по долгу совести. Верности артиллерии. Убежденности в том, что ничто на свете не может быть выше Франции. Руководствуясь патриотическим сознанием... и прочая, и прочая... Что же касается гаубиц, то маршал Виктор самолично изволил присутствовать в Трокадеро на испытаниях. Не угодно ли ему будет вспомнить? Предельная дальность стрельбы из всех восьми орудий под углом возвышения ствола в сорок четыре градуса не превысила двух тысяч туазов. Значительная часть снарядов взорвалась в воздухе.

– Потому что порохового заряда кладете недостаточно, – не без злорадства уточняет генерал Лезюер.

– Бомбы в любом случае не достигали бы городской черты. Дальность уменьшается с каждым выстрелом.

– Почему? – осведомляется Виктор.

– Клинья в запальном канале ослабевают при каждом выстреле, и оттого сила заряда уменьшается.

На этот раз воцарилось еще более продолжительное молчание. Маршал внимательно рассматривает план города. Генерал Рюффен опять уставился в окно, за которым слышны голоса саперов. Стучат их топоры, позванивают лопаты. Виктор наконец отрывается от панорамы Кадиса.

– Я вам вот что скажу, капитан... капитан... Как вас? Напомните, пожалуйста, свое имя.

Бух! Бух! – раздается за окном. Дефоссё снова проглатывает слюну, и ему кажется: этот звук громче пистолетного выстрела. Муха, сволочь испанская, кружит над столом, перелетает от генерала к генералу.

– Симон Дефоссё, ваша светлость.

– Так вот, Дефоссё... На Кадис наведено триста крупнокалиберных стволов, а Севильский литейный двор работает круглосуточно. У меня есть главный штаб артиллерии, у меня есть вы – истинный гений в своей области, как уверял покойный генерал Сенармон, земля ему пухом. Я предоставил в ваше распоряжение всякое необходимое оборудование, я облек вас властью и полномочиями... Что вам еще нужно, чтобы засадить *маноло* бомбу в самое очко?

– Мортиры, ваша светлость.

Муха присаживается маршалу на нос.

– Мортиры?

– Точно так. И большего калибра, чем модели «Дедон», – четырнадцатидюймовые.

Виктор отмахнулся, сгоняя муху, – и в тот же миг из-под раззолоченного, выложенного маршала вдруг проглянуло его казарменное, солдафонское нутро.

– Думать забудьте о своих мортирах драных! Слышите?

– Прекрасно слышу, ваша светлость.

– Если император сказал – «гаубицы», значит будут гаубицы. И всё на этом!

Капитан Дефоссё поднимает руку. Но все же – позвольте еще два слова... Еще минутку... В этом случае он обязан осведомиться у его светлости, нужно ли, чтобы бомбы в Кадисе все же рвались, или довольно и того, если будут падать просто так. Он произносит это и умолкает в ожидании. Маршал после краткого раздумья, переглянувшись со своими генералами, отвечает, что не понял, куда клонит капитан. Дефоссё снова показывает на разостланный план и просит уточнить задачу. Что же все-таки требуется – причинить осажденному городу всамделишный ущерб или подорвать боевой дух защитников. Если второе, то безразлично, будут бомбы взрываться или нет. Ущерб будет относительный.

Маршал, совершенно очевидно сбитый с толку, почесывает нос там, где посидела муха.

– Что вы понимаете под «относительным ущербом»?

– Так называемая болванка, весом около восьмидесяти фунтов, может что-нибудь разрушить или сломать, причем – с сильным грохотом.

– Послушайте, капитан... – Виктор вроде бы даже унял досаду. – Я хотел бы сровнять этот проклятый полуостров с землей, а потом с моими гренадерами поднять его на штыки... Но раз уж это невозможно, то пусть хотя бы «Монитор», не привирая ни слова, напечатает, что от нашего огня Кадис содрогается до основания и ходит ходуном.

Дефоссё впервые за все это время улыбнулся. Нет, не ощерился во всю пасть, что было бы и неуместно, и несовместимо с его чином. Но всего лишь раздвинул губы. Скромно и многообещающе.

– Я провел испытания десятифунтовой гаубицы, стреляющей особыми снарядами. Особыми, но на самом деле очень простыми – они без пороха и не взрываются. Ни запала, ни фитиля. Ядра двух видов – литые и начиненные свинцом. Могут представлять интерес в отношении дальности, если мне удастся решить одну дополнительную задачу.

– И каково же их действие?

– Крушат, ломают, рушат. Если повезет и они угодят в дом. Могут убить кого-нибудь или покалечить. Производят очень много шума. Полагаю, что предельная дистанция может возрасти на сто–двести туазов.

– Каково поражающее действие?

– Никакого.

Маршал снова переглянулся с Лезюером, и тот кивком подтвердил все сказанное, хотя Дефоссё ли не знать: его начальник понятия не имеет, о чем идет речь. О последних испытаниях с «Фанфаном» известно лишь лейтенанту Бертольди.

– Ну хорошо. И то хлеб. Для газетной трескотни пока достаточно. Но и «классику» в небрежении не оставляйте. Работайте. Совершенствуйте гаубицы со снарядами зажигательными, разрывными, обычными, бомбами, гранатами, с запалами, без запалов и так далее. Полезно одну свечку поставить Христу, а другую – дьяволу.

Он поднялся. И выработанная годами службы привычка непроизвольно вздернула навывтяжку остальных. На грохот стульев обернулся от окна генерал Рюффен.

– Да, и вот еще что... Разорвется или не разорвется, но если накроете часовню Сан-Фелипе-Нери, где сейчас заседает эта шайка, которая называет себя кортесами, – произведу в майоры. Слышите? Обещаю.

Генерал Лезюер слегка поморщился, и это не ускользнуло от маршальского внимания.

– В чем дело? – надменно осведомился он. – Есть возражения?

– Нет, какие же возражения, ваша светлость... Просто капитан Дефоссё уже дважды отказывался от повышения в чине.

С этими словами он посмотрел на предмет обсуждения со смешанным чувством зависти, подозрительности и досады. В мире профессиональных военных всякий, кто не стремится продвинуться по службе, неизбежно кажется человеком сомнительным. Немудрено: это идет

вразрез с самым духом армейской касты, всякий член которой желает расти в чинах, получать кресты и, если повезет, – вслед за герцогом Беллунским и генералом Лезюером грабить города, страны, народы и свозить трофеи в милую отчизну. А что они три десятилетия кряду добывали славу для республики, консульства, империи, глотали, не морщась, огонь и свинец – никак не помеха тому, чтобы окончить свои дни в богатстве и, если получится, в своей постели. Противоречия тут нет, зато есть еще одна причина косо смотреть на тех, кто, подобно капитану, желает маршировать под собственный барабан. Если бы не светлая голова Дефоссё, Лезюер давно бы отправил его гнить на редут, месить грязь на гибельных заболоченных берегах каналов, окружающих Исла-де-Леон.

– Ладно. Желает, как я посмотрю, быть наособицу, сам по себе. И вероятно, глядит на нас, не гнушающихся делать карьеру, свысока, – промолвил Виктор.

Очередную напряженную паузу – а и в самом деле, что тут скажешь? – прервал его хохот.

– Ладно, капитан. Делайте свое дело и постарайтесь прошибить бомбой купол Сан-Фелипе. Мое обещание остается в силе. Чин вы не хотите – а чем же вас наградить в случае удачи?

– Четырнадцатидюймовой мортирой, ваша светлость.

– Убирайся отсюда! – гаркнул герой Маренго, указывая на дверь. – Прочь с глаз моих! Провались, мерзавец!

* * *

Рано поутру чучельник входит в парфюмерную лавку Фраскито Санлукара, что на улице Бендисьон-де-Дьос, возле Ментидеро. Здесь тесновато, полутемно и прохладно, окно глядит во внутренний дворик. В глубине на прилавке громоздятся ящики и коробки, часть – с прозрачными крышками, чтобы можно было разглядеть товар. Сосуды, флаконы, склянки. Изобильная пестрота красок, разнообразие ароматов, запах цветочных эссенций и душистых масел. Раскрашенный литографический портрет короля Фердинанда Седьмого на стене. Рядом – старый судовой барометр на узкой длинной подставке-колонке.

– Доброе утро, Фраскито.

Очкастый рыжеватый хозяин в сером рабочем халате больше похож на англичанина, чем на испанца. Все лицо и даже клинья затылка, врезающиеся с висков в кудреватые негустые волосы, – в густой россыпи веснушек.

– Доброе утро, дон Грегорио. Чем сегодня услужу вам?

Грегорио Фумигаль – так зовут чучельника – улыбается ему. Он здесь завсегдатей: в лавке Фраскито неизменно широчайший выбор наилучших в Кадисе товаров – от изысканных зарубежных до самых ординарных, местного производства помад, притираний, бальзамов, туалетных мыл.

– Мне нужна краска для волос. И два фунта белого мыла – такого же, как я в прошлый раз у вас брал.

– Подошло, значит?

– Превосходно подошло. Вы оказались правы – шкуру отчищает просто чудесно.

– Я ведь говорил! Отчищает лучше, а расходует меньше.

Появляются две молодые женщины.

– Я не тороплюсь, – говорит чучельник и отходит от прилавка, куда хозяин обслуживает покупательниц. Простолюдинки из соседнего квартала – шерстяные полушалки, саржевые юбки, гребни в высоко взбитых волосах, корзинки на руке. Бойкие и бесцеремонные – истые жительницы Кадиса. Та, что помельче, – хорошенькая, белокожая, с изящными ручками. Грегорио Фумигаль наблюдает, как девицы перебирают выставленные на прилавке коробочки и мешочки.

– Завесь мне полфунтика вот этого желтенького, Фраскито.

– Это тебе не годится. Жирное слишком. Поверь мне, милая.

– И что ж с того, что жирное? Что за беда?

– Да вот то. Оно на свином сале. Будет от тебя хрюшкой нести... Давай я вот тебе лучше отмерю этого, на кунжутном масле. Прелесть что такое. Совсем другое дело.

– Ну да, и сто́ит небось втрое... Знаю я тебя.

Фраскито Санлукар принимает вид оскорбленной невинности:

– Разумеется, это немного подороже. Но ты заслуживаешь мыльца самого высшего качества. На красоте экономить не надо. Кстати, его же употребляет императрица Жозефина...

– Да и черт бы с ней! Не желаю мыться тем же, что эта лягушатница.

– Остынь, красавица. Ты не дослушала. И английская королева. И португальская инфанта Карлота. И еще графиня де...

– Ты кого угодно уговоришь, Фраскито.

– Так сколько, говоришь, тебе фунтов?..

Хозяин заворачивает коробочку. Когда покупку делают женщины, следует упаковать товар покрасивей, обернуть поярче – в цветную бумагу с названием лавки. Реклама заведению будет.

Грегорио Фумагаль, посторонившись, дает девицам пройти и смотрит им вслед.

– Извините, дон Грегорио, – говорит хозяин. – Спасибо за долготерпение.

– Что ж, война войной, а торговлишка, вижу, бойкая?

– Грех жаловаться. Покуда порт открыт, ни в чем недостатка нет. Даже французские товары прибывают... И слава богу, а то наш Кадис падок до всего заграничного, а испанские мыла пользуются неважной репутацией... Говорят, подмешивают туда черт знает что.

– И вы тоже подмешиваете?

Гримаса Фраскито должна означать, что достоинство его задето.

– Смесь смеси рознь, – отвечает он. – Вот, взгляните, – он показывает на коробку с кусками белоснежного мыла, – это немецкое. Содержит много жира, потому что где же взять в Германии оливкового масла, но зато уж и очищают его, пока ни малейшей отдушки не останется. А наши туалетные мыла никто брать не хочет, потому что много всякой дряни наварили, – народ и перестал доверять: сплошное, говорит, надувательство. Вот и получается, что мы за чужие грехи платим.

Бумм! – прокатывается где-то в отдалении приглушенный гром. Но здесь лишь слегка вздрагивает деревянный пол и дребезжит стекло витрины. Посетитель и хозяин мгновение прислушиваются.

– Обстрелы – как? Беспокоят вас?

– Редко. – Фраскито с невозмутимым видом упаковывает два фунта мыла и склянку с краской для волос. – Наш квартал – далеко... А бомбы и до Сан-Агустина не долетают.

– Сколько с меня?

– Семь реалов.

Грегорио кладет на прилавок серебряный ду́ро и ждет сдачу, полуобернувшись в ту сторону, откуда донесся грохот.

– Тем не менее постепенно приближаются, а?

– Слава богу, очень медленно... Сегодня одна упала на улице Росарио, а это, сами знаете, – тысяча вар. Ближе пока не было. Вот потому те, кто живет в восточной части города, а к родне перебраться не может, предпочитают теперь ночевать у нас.

– Да неужто? Под открытым небом? Вот это зрелище...

– Я вам говорю! И с каждым днем их все больше – приходят с тюфяками, матрасами, одеялами, напяливают ночные колпаки и устраиваются где могут, а верней – куда пустят. Слышно,

будто власти начали строить бараки в Санта-Каталине, там их разместят. Знаете – пустырь за казармами?

Грегорио Фумагаль, со свертком под мышкой выйдя из лавки, вскоре нагоняет давешних девиц: они идут медленно, засматриваясь на витрины. Чучельник оглядывает их искоса, а потом, оставив позади Ментидеро, по прямым улицам, проложенным с таким расчетом, чтобы по ним не гуляли ни восточный, ни западный ветры, направляется в восточную часть города, к площади Сан-Антонио. Заворачивает в аптеку на улице Тинте, покупает три грана сулемы, шесть унций камфары и восемь – белого мышьяка. Потом доходит до перекрестка улиц Амоладорес и Росарио, где несколько горожан, присев с бутылкой вина у погребка, рассматривают полуразрушенный бомбой дом. Часть фасада обвалилась: трехэтажная стена будто стесана сверху донизу, и с улицы видны переломанные балки, осевшие перекрытия, ведущие в пустоту двери, литография или картина на стене, кровать или другая мебель, чудом устоявшая на месте в этом бедствии. Домашний, интимный уют непристойно выворочен наизнанку, выставлен напоказ. Соседи, солдаты, полицейские ставят подпорки, разбирают завал.

– Жертвы есть? – спрашивает Грегорио у кабатчика.

– Seriously пострадавших нет. В той части, куда угодило, никого не было. Хозяйку со служанкой ранило... Бомба все разворотила, но обошлось, слава богу...

Чучельник подходит туда, где кучка горожан созерцает валяющиеся среди мусора и щебня остатки снаряда – осколки чугуна и кусочки свинца в полпяди длиной, завитые спиралью, наподобие штопора. Фумагаль слышит разговоры в толпе: дом раньше принадлежал французскому негодянту, три года назад интернированному и посаженному в плавучую тюрьму в бухте. Новые владельцы устроили здесь пансион. Хозяйку с переломанными ногами извлекли из-под развалин и свезли в госпиталь; горничная отделалась несколькими ушибами.

– Считай, второй раз родилась, – крестясь, говорит соседка.

Внимательные глаза чучельника подмечают все. Траекторию бомбы, угол падения, причиненный ущерб. Ветер сегодня восточный. Умеренный. Стараясь не привлекать к себе внимания, Фумагаль проходит от очага поражения до церкви Росарио, считая шаги и прикидывая расстояние: получается примерно двадцать пять туазов. Незаметно записывает это свинцовым карандашом в блокнотик в картонном переплете: потом он нанесет пометки на карту, разосланную у него в кабинете на столе. Прямые и кривые. Точки, которыми на медленно густеющей, обволакивающей Кадис паутине отмечены попадания... Вот и опять те две девицы, которых он видел в лавке Фраскито: пришли поглазеть, каких бед натворила французская бомба. Заглядевшись на них, чучельник натывается на прохожего, идущего навстречу, – дочерна загорелого, в черной двуголке и синем суконном бушлате с золотыми пуговицами. Фумагаль борется извинения, и оба расходятся.

* * *

Пепе Лобо не обратил внимания на человека, одетого в темное, который медленно удалялся, неся два свертка в длинных руках с бледными кистями. Моряку и помимо этого было о чем поразмышлять. Например, о том, что если не везет – так уж не везет. Под развалинами пансиона, где он живет – вернее, где жил до сегодняшнего дня, – остался сундучок с его пожитками, совсем недавно перенесенный из каюты. Не бог весть что, конечно, но все же – три сорочки, еще кое-какое белье, куртка, штаны, подозрительная труба английской работы и секстант, часы, морские карты, два пистолета и – среди прочих необходимых вещей – его капитанский патент. Денег, впрочем, там не было ни гроша: их вообще так мало, что можно носить при себе. Карман не сильно оттянут, разве что брякают. И совершенно неизвестно, когда он получит то, что заработал в последнем плавании. У арматора – владельца «Рисуэньи» – он побывал полчасика назад и итогами разговора остался очень недоволен. «Потерпите, капитан, немного,

деньков через несколько подбьем баланс этого злосчастного рейса, тогда все и решим. Перво-наперво нам придется возместить кредиторам протори за опоздание судна. За ваше опоздание, сударь. Надеюсь, вы понимаете, что ответственны за него? Что-что? Ах, вот как? Очень жаль. Нет, дать вам под начало другой корабль сейчас никак нельзя. Ну разумеется, как появится вакансия, мы вас уведомим. Непременно. Будьте покойны. А сейчас – простите, дела... Желаю вам всего наилучшего».

Моряк пересек улицу и приблизился к толпе, собравшейся перед домом. Возмущенные возгласы, глубокомысленные комментарии, брань по адресу французов. Ничего нового. Он прокладывал себе путь в густой толчее, покуда сержант довольно неучтиво не сказал ему, что дальше хода нет.

– Да я живу в этом доме. Я – капитан Лобо.

Оценивающий взгляд сверху донизу.

– Капитан?

– Он самый.

Само звание это не произвело особенного впечатления на парня в сине-белом ополченском мундире, однако он, как всякий житель Кадиса, нюхом чувствует моряка торгового флота и потому несколько смягчил обращение. Когда Лобо объяснил насчет сундучка, сержант предложил дать ему солдата в помощь: «Пошарь под развалинами, что найдешь – то твое». И Лобо, поблагодарив, сбросил бушлат и взялся за поиски. Нелегко будет, думал он, оттаскивая в сторону камни, битый кирпич, ломаное дерево, нелегко будет снять другое жилье, да чтоб еще было приличное. Наплыв беженцев сократил до крайности и без того скудный рынок. В Кадисе жителей теперь вдвое против прежнего: пансионы, гостиницы, постоялые дворы переполнены, цены на комнаты и даже на террасы в частных домах взлетели до заоблачных высот. Дешевле, чем за двадцать пять реалов в сутки, не найдешь, а годовая аренда скромного жилья обойдется тысяч в десять самое малое. Ему таких денег взять неоткуда. Одни переселенцы принадлежат к знати, далеко не бедствуют, через парижские и лондонские торговые дома получают деньги из Америки или ренту со своих земель, оставшихся под французами, но все же большая часть – разоренные войной собственники, патриоты, отказавшиеся присягать королю Жозефу, оставшиеся не у дел чиновники, которых вместе с семьями и бежавшим правительством приливы и отливы войны мотают по стране туда-сюда с тех самых пор, как наполеоновские войска вступили в Мадрид, а потом в Севилью. В результате в Кадисе скопилось невероятное количество эмигрантов и беженцев без средств к существованию, и количество это возрастает за счет тех, кто бежал сюда из областей Испании, которые уже или вот-вот будут заняты французами. По счастью, хотя бы хватает продовольствия, и люди перебиваются кто чем и как может.

– Поглядите, сеньор, это не ваш сундучок?

– Ох, ты... Да чтоб тебя... Мой. Был.

И через два часа Пепе Лобо, взмокший и перепачканный, безропотно принявший очередную превратность судьбы – ему не впервые доводилось оставаться в чем есть, – шагал в окрестностях Пуэрта-де-Мара, таща в парусиновом узле уцелевшие в его личном кораблекрушении пожитки – все, что удалось извлечь из раздавленного сундучка. Ни секстан, ни подзорная труба, ни карты не пережили бедствия. Все прочее – кое-как. В сущности, надо признать, что, если бы он не отправился спозаранку, едва пробило восемь, к владельцу «Рисуэньи», все могло бы выйти хуже. Например, сам бы остался под завалом. Не разминись он с бомбой, познакомился бы с ангелочками на небесах – или куда там ему предназначено было попасть? Тем не менее хоть и жив остался, но положение, прямо скажем, не ахти. Верней сказать, аховое положение. И все же такой город, как Кадис, всегда дает пространство для маневра – и эта мысль греет душу Пепе, пока он движется по улочкам и переулкам кварталов Бокете и Мерсед, пробираясь между моряками, рыбаками, гулящими девицами, припортовыми оборванцами, беженцами и переселенцами самого наипоследнего разбора. В этом квартале, на улицах с крас-

норечивыми названиями Атауд или Сарна¹⁶, наверняка – он знал – найдется логово, где моряк за несколько медяков получит на ночь топчан, пусть даже и придется разделить его с женщиной, спать вполглаза, а под свернутый бушлат, заменяющий подушку, сунуть наваху.

* * *

Кажется, что здесь, в тиши кабинета, где вдоль стен замерли животные и птицы, и само время остановилось. Проникающий сквозь застекленную дверь свет отражается в стеклянных глазах млекопитающих и пернатых, поблескивает на отлакированной коже рептилий и пресмыкающихся, играет на больших прозрачных сосудах, где в химической невесомости плавают скорченные желтоватые зародыши. Слышен только торопливый скрип грифеля. В средоточии своего особенного мира Грегорио Фумагаль, в халате и шерстяном колпаке, покрывает бисерными буквами листок тончайшей бумаги. Он пишет стоя, слегка наклонясь над высокой конторкой. Время от времени переводит взгляд на расстеленный по столу план Кадиса; уже во второй раз берет лупу, рассматривает тот или иной квартал через увеличительное стекло, а потом опять возвращается за конторку и принимается строчить.

Звонят колокола собора Святого Иакова. Фумагаль, взглянув на часы в позолоченном бронзовом корпусе, торопливо дописывает последние строки и, не перечитывая, туго скатывает листок в короткий и тонкий рулончик, засовывает внутрь пустотелого птичьего пера, а его с обоих концов запечатывает воском. Потом открывает стеклянную дверь, поднимается по ступенькам на плоскую крышу-террасу. После полутьмы кабинета неистовый свет режет глаза, слепит. Меньше чем в двухстах шагах недостроенный купол и остов звонницы нового собора в еще не снятых лесах врезаются в небо над городом, возносятся над всем пространством моря и песчаного берега, – выбеленный солнцем до ослепительного блеска, он волнообразно подрагивает в знойном мареве, крутым изгибом уходя вдоль перешейки к Санкти-Петри и к возвышенностям Чикланы, словно гребень дамбы, над которой, кажется, вот-вот сомкнется темная голубизна Атлантики.

Фумагаль отвязывает обрывок бечевки, придерживающей дверцу голубятни, входит внутрь. Птицы, разгуливающие на свободе или сидящие в клетках, привыкли к его появлениям и не пугаются. Лишь легкий переплеск крыльев да негромкое воркование. Нагретый воздух обдает знакомым запахом конопляного семени, вики, помета, перьев, пока чучельник выбирает подходящий экземпляр – крепкого голубовато-серого самца с белой грудкой и переливающейся зеленовато-лиловой шеей, который уже несколько раз совершал перелеты через бухту и назад. Да, это образцовая особь, благодаря своему необыкновенному умению ориентироваться превратившаяся в надежного императорского курьера, испытанного ветерана, невредимо летавшего под солнцем, дождем или ветром и до сих пор не попавшего ни в когти пернатых хищников, ни под ружейный огонь бдительных двуногих без перьев. В отличие от своих собратьев, никто из которых не возвращался с задания, этот неизменно прибывает к цели: путь туда – по прямой, незримо прочерченной над бухтой, – длится от двух до пяти минут в зависимости от направления ветра и погоды, путь обратно совершается в тщательно спрятанной клетке, на контрабандистском баркасе: то и другое оплачено французским золотом. На высоте в триста футов птичка ведет собственную маленькую войну.

Осторожно держа голубя брюшком вверх, Фумагаль убедился – тот здоров, все маховые и рулевые перья целы. Потом навощенной шелковинкой привязал цилиндр к длинному, крепкому перу на хвосте, запер голубятню и подошел к балюстраде, ограждавшей террасу с востока, с той стороны, где сторожевые башни, возвышаясь над городом, закрывают бухту и материк. Тщательно осмотревшись и удостоверившись, что с соседних крыш никто не наблю-

¹⁶ Ataúd – гроб (для бедняков); sarna – чесотка (исп.).

дает, чучельник подбросил голубя, и тот, ликующим щелканьем встретив свободу, взмыл в воздух и с полминуты ходил над домом кругами, с каждым витком забирая все выше. Осаивался. Потом, определив тончайшим своим инстинктом точное направление, размеренно и ритмично работая крыльями, стал стремительно удаляться в сторону французских позиций на Трокадеро: превратился в маленькое пятнышко, потом в едва различимую точку и наконец вовсе исчез из виду.

Грегорио Фумагаль, заложив руки в карманы серого халата, еще долго стоял на крыше, разглядывая крыши, башни, колокольни. Наконец повернулся, спустился по лестнице, вошел в кабинет, где ему со света показалось темно, как в склепе. Каждый раз, когда он отправляет голубя в полет, чучельника охватывает странное, беспричинное ликование. Ощущение беспредельной мощи и неосязаемой, духовной связи с теми почти магическими силами, которые по его собственной воле высвобождены и направлены к противоположному берегу бухты. И не кто иной, как эта пичуга, такая невинная, такая обыкновенная, теперь уже скрывшись в поднебесье, несет, сама того не зная, ключ, приводящий во взаимодействие сложнейшие отношения между людьми. Его жизнь и смерть.

Последнее слово произнесено вслух и тяготеет над неподвижными зверями. Наполовину выпотрошенный пес по-прежнему распростерт на мраморном столе и покрыт белой простыней. Работа требует терпения и спокойствия. Некоторые части тела уже скреплены проволокой, соединяющей кости и суставы, часть природных полостей заполнена шерстью. Глазные впадины, как и раньше, заткнуты ватой. От животного идет сильный запах раствора, удерживающего ткани от распада. Чучельник толчет в ступке и перемешивает мыло, купленное в лавке Фраскито Санлукара, с сулемой, мышьяком и винным уксусом, кистью осторожно и аккуратно наносит на шкуру получившийся состав, время от времени губкой снимая излишек пены.

Пробили бронзовые часы на шкафу, и Фумагаль, не прекращая работы, метнул на них быстрый взгляд. Голубь уже добрался до цели. И принес весточку. Это значит, что на плане появятся новые прямые и кривые, будут отмечены точки попадания и разрывов. Могущественные силы сегодня же будут приведены в действие, и гуще станет паутина на плане Кадиса, где знаком креста уже отмечена последняя упавшая бомба.

«Когда стемнеет, – думает чучельник, – выйду прогуляться. Гулять буду долго. В это время года в Кадисе по вечерам чудо как хорошо».

* * *

Рохелио Тисон лишь пригубил вино, в котором с утра вымочил ломоть хлеба. А за ужином, по обыкновению, пьет только воду. Суп, отварное куриное бедро. Немного хлеба. Он еще обгладывает косточку, когда в дверь стучат. Прислуга – зеленоватого-бледная, приземистая немолодая женщина – идет открывать и докладывает о приходе Иполито Барруля. В руках у профессора папка с бумагами.

– Уж простите, комиссар, что беспокоил вас в это время. Но получается нечто очень интересное... помните, мы говорили о следах на песке?

– Да, разумеется, помню. – Тисон встает, утирая салфеткой губы и пальцы. – И вы меня несколько не беспокоили. Не угодно ли чего-нибудь?

– Нет, благодарю. Недавно отужинал.

Комиссар бросает взгляд на жену, сидящую за столом напротив. Она очень худа, и под темными, погасшими глазами, еще больше подчеркивая увядание, залегли тени усталости. Губы сурово поджаты. Весь город знает, что эта иссохшая печальная женщина была когда-то очень красива. И счастлива. Давным-давно, много лет назад – до того, как потеряла единственную дочь. «Нет, – возражают другие, – до того, как замуж вышла». – «Что я вам расскажу, соседка... Такое только у нас в Кадисе возможно... Быть женой комиссара Тисона – считай,

сидеть в кандалах днем и ночью». – «Неужто правду говорят, он ее бьет?» – «„Бьет“ – это бы, кума, еще полбеда. Я вам говорю. Если бы только бил».

– Ампаро, мы с профессором пойдем в гостиную.

Женщина не отвечает. Только рассеянно улыбается гостю и левой рукой с поблескивающим на безымянном пальце обручальным кольцом катает по скатерти хлебный шарик. Еда на тарелке нетронута.

– Присаживайтесь, профессор. – Тисон взял керосиновую лампу и покручивает колесико, увеличивая пламя. – Кофе?

– Нет, благодарю. Спать не буду.

– А я в последнее время глаз не могу сомкнуть – что с кофе, что без. Ну, сигару-то все же выкурите со мной? Забудьте ненадолго свой рапé.

– От сигары не откажусь.

Окна маленькой уютной гостиной – сейчас они закрыты – выходят на Аламеду; обтянутые узорчатым шелком резные стулья и кресла, столик с грелкой-жаровней, придвинутое к оклеенной обоями стене пианино, к которому не прикасались уже одиннадцать лет. Аляповатые картины, несколько гравюр, на ореховой полке – десятка три книг: по истории Испании, по муниципальному здравоохранению, сборники королевских указов в бумажных обложках, словарь испанского языка, пятитомный «Дон Кихот», «Романсы о Германиях и Словарь» Хуана Идалго, тома, посвященные Кадису и Андалусии из серии «Ежегодник Испании и Португалии» Хуана Альвареса де Кольменара.

– Вот попробуйте-ка эту. – Тисон открывает ящик с сигарами. – Два дня, как из Гаваны.

И достались, кстати сказать, даром. Без пошлин. Восемь вместительных коробок с первоклассными сигарами комиссару вручили как часть платы – а еще двести реалов он получил в серебряных дура – за то, что признал действительным сомнительный паспорт одного приехавшего в Кадис семейства. Барруль, едва раскурив сигару, кладет ее в массивную металлическую пепельницу, украшенную изображением гонимого пса, поправляет очки, раскрывает папку и кладет перед Тисоном несколько рукописных листков. Потом снова берет «гавану», попыхи-вает ею и с легкой довольной полуулыбкой откидывается на спинку стула.

– Следы на песке, – повторяет он, медленно выпуская дым. – Думаю, это имеет к нему отношение.

Тисон проглядывает листки, исписанные почерком профессора. Что-то знакомое: *Всегда, как посмотрю, о сын Лаэрт, врагам удар готовишь ты нежданный...*¹⁷

Да, он читал это раньше. Когда-то давно. Страницы пронумерованы, но нет ни заглавия, ни названия. Это диалог Афины и Одиссея. *След свежий узнать стремясь – ты, как собака лаконская, вынюхиваешь цель...* Комиссар, зажав сигару в зубах, поднимает на гостя вопросительный взгляд.

– Не помните? – спрашивает Барруль.

– Смутно припоминаю.

– Я давал вам читать сколько-то времени назад... Это Софоклов «Аянт» в моем переводе – отвратительном, надо сказать.

Профессор напоминает: в юности он какое-то время задавался целью – так и не достигнув ее – перевести на испанский трагедии Софокла, собранные в том первого печатного издания, которое вышло в Италии в XVI веке. И еще до войны с французами, то есть года три назад, когда они играли в «Коррео» в шахматы с Тисоном и тот заинтересовался «Аянтом», Барруль рассказал ему, что первое действие начинается с едва ли не полицейского дознания, проводимого Одиссеем, более известным в кругу друзей как Улисс.

– Ах, ну да, конечно! Вот голова дырявая! Как я мог забыть!..

¹⁷ Перевод С. Шервинского.

Рохелио Тисон тычет в листки пальцем, посасывает сигару. Вот теперь все стало на свои места. Барруль отдал ему тогда рукопись трагедии, и он прочел ее с интересом, хоть и без восторга. Тем не менее в памяти отложился образ Улисса, который под стенами осажденной Трои провел расследование. Один из греческих вождей – Аянт или Аякс – перебил овец и волов: он обезумел от обиды, нанесенной ему прочими царями из-за доспехов павшего Ахилла. И, не в силах отомстить иначе, обрушил свою ярость на животных, которых бичевал и убивал у своего шатра.

– Вы были правы тогда насчет пляжа и следов на песке... Вот, прочтите-ка.

И Тисон читает. И не упускает ни слова.

– Ну да, – говорит он не без растерянности, – теперь вспомнил. Читал эти листки три года назад. Перевод древнегреческой трагедии.

Иполито Барруль догадывается о его разочаровании.

– Маловато, да? Вы ожидали большего, не так ли?

– Да нет, профессор, отчего же... Весьма полезное сведение. Единственное, что теперь недурно бы установить, какое отношение имеет этот ваш Аякс к нынешним событиям.

– Вы ведь не определили тогда точную природу этих событий... Речь идет об осаде или о гибели этих несчастных девушек?

Тисон в поисках ответа скашивает глаза на тлеющий кончик сигары. Потом пожимает плечами.

– Да, это вопрос, – отвечает он наконец. – Я, видите ли, чувствую, будто одно как-то соотносится с другим...

Барруль мотает головой, лошадиное лицо перекашивается скептической ужимкой.

– Вы разумеете свое полицейское чутье, комиссар? То самое, что – простите, это всего лишь цитата из классика – развито у вас, как у «лаконской собаки»? Собачий нюх? Простите еще раз, но, по-моему, это собачья же чушь.

Тисон с досадой перелистывает страницы рукописи. «Я так и знал. Темно, темно...» Барруль молча, с видимым интересом изучает его, пуская колечки дыма.

– Черт возьми, дон Рохелио, – произносит он наконец. – Вы у нас – прямо какая-то шка-тулка с сюрпризами.

– Это вы к чему?

– К тому, что в жизни бы не подумал, что человек вашего склада сможет приплести сюда Софокла.

– А какого я склада?

– Сами не знаете? Малость поглубже...

Новые кольца дыма. Молчание.

– Вы же – комиссар полиции, – добавляет Барруль спустя несколько секунд. – Привыкли дело иметь с трагедиями всамделишными, а не на бумаге. И я вас недурно знаю: вы – человек рациональный. Здравомыслящий. Вот я и спрашиваю себя: неужто и впрямь вам померещилось тут нечто общее? С одной стороны – убийство, да не одно. С другой – положение, куда загнали нас французы.

Комиссар, держа в углу рта сигару, криво усмехается. Вспыхивает золотая коронка.

– А чтобы все запутать еще больше, имеется еще ваш приятель Аякс. Осада Трои, осада Кадиса...

– И Улисс, проводящий дознание. – Барруль в улыбке показывает желтоватые зубы. – Ваш коллега. Если судить по выражению вашего лица, эти листки ничего вам не прояснили.

– Мне надо будет прочесть их еще раз, более вдумчиво...

Свет керосиновой лампы отражается в стеклах очков.

– Пожалуйста, располагайте ими как вам будет угодно. А за это – завтра утром жду вас в кофейне, за доской. Я намерен распотрошить вас без жалости и пощады.

– Это мы еще посмотрим.

– Смотреть буду я. Ну разумеется, если у вас не найдется иных занятий...

В дверях гостиной стоит жена. Они не заметили ее появления. Теперь Рохелио Тисон оборачивается к ней с гневом, потому что думает – подслушивала! И уже не в первый раз... Но женщина делает шаг вперед, и, когда ее угрюмое лицо оказывается на свету, комиссар понимает: нет, у нее какие-то новости, и, судя по всему, – дурные.

– Там полицейский пришел... Обнаружен труп еще одной девушки...

3

Заря застаёт Рохелио Тисона за осмотром тела при свете керосинового фонаря. Девушка – то, что осталось от нее, – молода, не старше шестнадцати-семнадцати лет; волосы светло-каштановые; телосложения хрупкого. Лежит вниз лицом; рот заткнут кляпом, руки связаны, спина обнажена и так изуродована, что меж лохмотьев исчерна-лилового мяса в сгустках запекшейся крови проглядывают кости. Иных видимых повреждений нет. Как и двух предшествующих, эту жертву тоже засекли до смерти.

Ни местные жители, ни прохожие ничего не видели и не слышали. Кляп во рту, удаленность места и глухой предрассветный час гарантируют убийце полную безнаказанность. Труп обнаружили на свалке возле улицы Амоладорес, куда каждое утро приезжает на своей телеге мусорщик. Нижняя часть тела закрыта одеждой: Тисон даже приподнял юбку, чтобы убедиться – ягодицы, ляжки и прочие части тела нетронуты, не повреждены, что сразу же заставляет отказаться от предположения о самых извращенных намерениях злоумышленника, если слово «самых» может быть употреблено в подобных обстоятельствах.

– Пришла тетка Перехиль, сеньор комиссар.

– Пусть ждет.

И повитуха, за которой недавно было послано, покорно ждет в дальнем конце проулка рядом с полицейскими, которые не подпускают близко нескольких ранних зевак. Готова по приказу комиссара произвести доскональный осмотр. Однако Тисон не торопится. Пристроившись на куче мусора, он довольно долго сидит в неподвижности, надвинув до бровей шляпу, насунув выше плеч редингот, сложив руки на бронзовом набалдашнике трости. Смотрит. Чем ярче разгорается рассвет, тем меньше сомнений, здесь убили девушку или приволокли сюда уже мертвой, – сейчас стали видны пятна крови на земле и на камнях рядом с трупом. Да, можно не сомневаться: связанная, с заткнутым ртом девушка была засечена насмерть на этом самом месте.

Рохелио Тисон, как вечером с едкой откровенностью отозвался о нем профессор Барруль, к полету чувств не склонен. Ужасы, неотъемлемые от его полицейского ремесла, закалили ему душу, сделали взгляд твердым и жестким, научили комиссара самому внушать ужас. Весь Кадис знает его как человека резкого и опасного, но вот поди ж ты – близость этой истерзанной девушки вселяет в его каменную душу непривычные ощущения. Нет, не ту смутную жалость, какую испытываешь рядом с любой жертвой, а странный стыд, захлестывающий так, что становится просто невыносимо. Сильней, чем в тот день, пять месяцев назад, когда он взглянул в лицо первой девушки, умерщвленной так же; сильней, чем когда обнаружили на перешейке вторую. Сейчас будто земля уходит из-под ног, и сам он летит в какую-то бездну, в пустоту, где слышатся бесконечно печальные звуки домашнего пианино, к клавишам которого давно уже никто не прикасается. Где веет давним, но незабытым запахом детской плоти, горящей в жару губельной лихорадки, изнывающей в муках, а потом холодеющей во вдруг опустелой квартире. Где царит одиночество безмолвное и бесслезное, а впрочем, нет – слезы каплют с жестокой неуклонностью тикающих часов. Где с отсутствующим видом, как немой упрек, как свидетель, как призрак или тень, бродит по дому, по жизни Тисона его жена.

Полицейский поднимается, растерянно моргает, будто вернулся сию минуту из какой-то дальней дали. Настал черед тетушки Перехиль, и он знаком приказывает пропустить ее. А сам, не дожидаясь, пока она подойдет, не отвечая на приветствие, отходит от тела. Некоторое время расспрашивает соседей, собравшихся невдалеке в наброшенных на белье плащах, одеялах или халатах. Никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Не знают также, местная ли это девушка. Никто не хватился ее, не заявил об исчезновении. Тисон приказывает стражнику Кадальсо: когда повитуха завершит осмотр – тело тотчас унести, чтоб больше его не видели.

- Понял?
- Да.
- Что значит это твое «да»? Понял, спрашиваю, уразумел толком или нет?
- Так точно, сеньор комиссар! Тело унести, и чтоб никто не видел.
- И самим помалкивать. Никаких объяснений. Ясно?
- Куда уж ясней!

– А тому, кто язычище распустит, я его вырву и в задницу засуну. – Тисон показывает глазами на Перехиль, уже опустившуюся возле трупа на колени. – И этой старой шлюхе передай мои слова.

Распорядившись таким образом и дав разгон, комиссар с тростью в руке удаляется, оглядывая окрестности. От городской стены и бухты за нею по улице Амоладорес просачивается первый свет дня, окрашивает серым фасады домов. Четких очертаний еще нет: в полутьме тонут провалы подъездов, решетчатых ворот, проулков. Шаги Тисона гулко стучат по мостовой, пока он идет вниз, по-прежнему озираясь в поисках чего-то, пока ему неизвестного – приметы, знака, идеи. И чувствует себя как игрок, который в трудном положении, не имея средств для немедленного отпора, изучает ряды фигур, ожидая озарения, лазейки, что выведет на неожиданную дорогу и вдохновит на новый ход. Чувство это не случайно: в нем отзвук давешней беседы с профессором Иполито Баррулем. Да-да, *нюх лаконской собаки*... Следы. Барруль сопровождал его ночью к месту преступления, окинул его взглядом и вслед за тем, проявив большое чувство такта, исчез. Успев уже на ходу сказать: «Партия отложена». Поздно уже что-либо откладывать, готов был ответить ему Тисон, но мысли его приняли иное направление. Известное время назад он начал самую сложную свою и таинственную партию. Три съеденные пешки, незримый противник и взятый в осаду город. И сейчас комиссару хочется только поскорее добраться до дому и перечитать рукопись «Аянта», лежащую на стуле, хоть правильной было бы забыть про нее, как про ошибочную или нелепую связь. Ему ли не знать, сколь опасно увлекаться яркими и колоритными идеями, в какие тупики воображения заводят они, какие ловушки подстраивают. В криминальных делах, где внешность редко бывает обманчива, какой путь очевиден – тот и правилен. Свернешь с него – увязнешь в умопостроениях бесплодных, а то и рискованных. Но сегодня комиссар не может отделаться от этой идеи, и невозможность эта обескураживает. Несколько строчек, прочитанных вчера вечером, стучат в висках в такт шагам в сероватой рассветной дымке. Тук-тук-тук. *След свежий узнать стремясь*. Тук-тук-тук. *След свежий узнать стремясь*. Следы и шаги. Кадис полон ими. Их больше здесь, чем на прибрежном песке. Здесь они громоздятся друг на друга. Тысячи мнимостей скрывают или маскируют тысячи действительностей – человеческих, сложных, противоречивых и коварных. И все это вдобавок перевернуто странной осадой, которой живет город. И этой ни на что не похожей войной.

Внезапно открывшиеся развалины дома на углу Амоладорес и Росарио подобны удару наотмашь. Вот и еще одно подтверждение – и какое злобно-насмешливое... Комиссар застывает на месте, потеряв дар речи от неожиданности, – впрочем, какое-то смутное ожидание томило, признается он мгновение спустя. Бомба упала меньше суток назад, не дальше тридцати шагов от места убийства. Тисон едва ли не осторожно, словно боясь неловким движением спутать приметы и следы, изучает три этажа, открывшиеся взгляду, когда обвалилась фронтальная стена, выставив на обозрение внутренность квартир. Потом оборачивается к востоку, откуда через бухту прилетело ядро, развалившее этот дом, прикидывает траекторию и дальность.

На улице возится человек в одной рубашке, несмотря на рассветный холод, и длинном белом фартуке. Это здешний булочник пытается убрать обломки и щебень от входа в свое заведение. Тисон направляется к нему и у дверей чувствует аромат свежеевыпеченного хлеба. Булочник, удивленный появлением в такую рань странного субъекта в рединготе, шляпе и с тростью, глядит с подозрением.

– Где осколки бомбы?

Убрали уже, отвечает булочник, удивляясь, что его спрашивают про бомбы в столь неподходящий час. Тисон требует подробностей и получает их. Одни взрываются, объясняют ему, а другие нет. Эта вот взорвалась. Попала в верхний угол дома. Свинец разлетелся во все стороны.

– Ты уверен, что это был свинец?

– Будьте покойны. Вот такие кусочки, в палец длиной. И так выкручены замысловато...

– Вроде как штопор, – уточняет Тисон.

– Вот именно, как штопор. Дочка домой принесла четыре штуки... Хотите взглянуть?

– Нет.

Повернувшись, он идет назад, на улицу Амоладорес. Но сейчас шагает торопливо и думает быстро. Нет, таких совпадений не бывает. Две бомбы и менее чем через сутки после падения каждой – две убитые девушки, причем почти в одном и том же месте. Слишком уж все точно повторяется, чтобы приписать это воле случая. Тем паче что преступлений было не два, а три. Первую жертву, тоже засеченную кнутом до смерти, обнаружили в безымянном проулке между Санто-Доминго и Мерседом, в восточной части города, примыкающей к порту. Никому в ту пору не пришло, разумеется, в голову проверить, падали там бомбы или нет, и это-то вот комиссар намерен сейчас проверить. Вернее, подтвердить: да, падали, и предчувствие его не обмануло. Где-то рядом взорвалась бомба. Она и ей подобные убивают иначе – не так, как посланные из французских орудий. На шахматной доске понятия «случай» не существует.

Тисон слегка улыбается – если, конечно, не будет преувеличением назвать так кривую угрюмую ухмылку, открывающую золотую коронку в углу рта. И, балансируя тростью, в сером свете зари идет под стук своих каблучков дальше. Тук. Тук. Тук. Он погружен в размышления. Прошло уже много лет – а сколько именно, и не вспомнить – с тех пор, как в последний раз возникало у него ощущение, что вся кожа встала дыбом. Что озноб страха ерошит ее.

* * *

Выстрел влет сбивает селезня, неосторожно снизившегося над плавнями. Испуганные грохотом птицы с пронзительными криками носятся вокруг. Но тотчас вновь становится тихо. И еще через мгновение в свинцовом свете зари четко, будто вырезанные, возникают очертания трех фигур в серых шинелях и черных киверах французской армии; пригибаясь и оглядываясь, они сторожко движутся вперед, держа на изготовку ружья. Двое остаются позади, на покатом песчаном склоне, прикрывая третьего, который шарит в кустах, ищет добычу.

– Не шевелитесь, – шепчет Фелипе Мохарра.

Прильнув щекой к ложу приклада, он лежит на берегу узкого канала; босые ноги до колен облеплены селитряной жижей. Наблюдает за французами. Рядом с ним инженер-капитан Лоренсо Вируэс замер, пригнул голову, обхватил руками кожаную сумку с длинным, чтоб за спиной носить, ремнем, где он держит свою подозрную трубу, тетради, рисовальные принадлежности.

– Нет, это не по нашу душу... Оголодали. Как только найдут свою утку, так и отвалят...

– А если сюда придут? – шепотом спрашивает капитан.

Мохарра вместо ответа крутит указательным пальцем над замком своего ружья – доброго «шарлевиля», доставшегося ему как трофей в давнем теперь уже бою у моста Суасо, – которое бьет круглыми свинцовыми пулями диаметром в целый дюйм. В патронташе, который он носит на поясе, рядом с флягой, лежат еще девятнадцать таких пуль, завернутых в вошеную бумагу.

– Если сунутся очень уж близко, одного застрелю, а остальные поостерегутся.

Краем глаза он видит, как капитан Вируэс на всякий случай достает из-за пояса пистолет. Капитан – человек обстрелянный, так что Мохарра считает лишним напоминать ему, чтоб взводил курок лишь в самый последний момент, потому что здесь, в тишине, малейший звук

разносится далеко. А вообще-то хорошо бы, чтобы французы подобрали свою утку да вернулись к себе в траншеи. Перестрелка – дело такое: начать легко, а чем кончится, один Бог знает, и в случае чего сомнительное будет удовольствие возвращаться к испанским позициям, отстоящим от ничейной земли на пол-лиги, да по этому заболоченному лабиринту каналов, ручейков и проток, да еще с лягушатниками на хвосте. Битых четыре часа вел он сюда своего спутника вдоль канала Сан-Фернандо, чтобы к рассвету оказаться где надо – где офицер сможет зарисовать неприятельские укрепления на редуте «Гренадер». Потом, в спокойствии тыла, эти торопливые наброски, сделанные искусной рукой капитана Вируэса, превратятся в подробные планы. Так, по крайней мере, объяснили Мохарре, которому разумения хватает только месить грязь.

– Нашли. Уходят.

Трое французов удаляются, все так же настороженно озираясь и держа оружие наготове. По их повадке Мохарра догадывается – ветераны скорей всего, фузилеры 9-го линейного пехотного полка, занимающего ближайšie траншеи, люди, привычные ко всякому и ко всему готовым. К внезапному огню и внезапным поискам испанских егерей, которые действуют по всей линии обороны Исла-де-Леона, прихотливо выходящей вдоль каналов Санкти-Петри и Де-ла-Крус. Солдаты 9-го линейного знают, что они появляются как из-под земли: еще месяца не прошло, как где-то здесь зарезали француза, присевшего на корточки по нужде.

– Идемте. Сначала я, а вы – шагов на шесть-семь позади...

– Далеко еще?

– Считайте, почти пришли.

Фелипе Мохарра, приподнявшись на миг, чтоб оглядеть местность, снова пригибается и, выставив ружье, медленно движется вперед по ответвлению канала, где вода доходит ему до середины икр. А селитры в этой воде столько, что у любого, кто вздумает пошлепать по ней босиком, ноги за несколько часов разьест до живого мяса. У любого, но только не у Фелипе: он местный, он здесь и родился. И ноги его, выдубленные за долгие годы браконьерского промысла, покрытые сплошной коркой мозолей, желтоватых и твердых, как подметка старого башмака, способны нечувствительно ступать по колючим шипам или режуще-острым камням. Осторожно шагая, он слышит за собой, как негромко шлепают позади армейские сапоги его спутника. Тот в отличие от Фелипе, который ходит в обрезанных по колено штанах, в рубаше из грубой парусины, в шерстяной куцей куртке, а за кушаком носит наваху в полторы пяди длинной, облачен в форменный мундир корпуса военных инженеров – синий, с лиловыми воротником и отворотами. Капитану немного за тридцать; он недурен собой, высок ростом, белокур и, по оценке Фелипе, – человек негордый и в обращении приятный. Солевара не удивляет, что на разведку – а вместе они идут уже в пятый раз – он неизменно выходит в полной форме и, делая себе единственную поблажку, не надевает лишь положенный по уставу галстучек. Впрочем, немногие испанские офицеры, собираясь в такие вот предприятия, одеваются под стать Фелипе. Потому что французы, если схватят, с человеком в военном мундире обойдутся как с равным, как с военнопленным, а вот так называемых мирных жителей, буде возьмут их с оружием в руках, ждет совсем иная судьба. Тут уж как ни одевайся, размышляет Мохарра, а попадешься – вздернут тебя на суку или пристрелят.

– Осторожно, сеньор капитан... Вот сюда, правой... Да-да, сюда... Оступитесь – уйдете с головой. Здешние топи коня со всадником утягивают.

Фелипе Мохарре Галеоте пошел сорок шестой год; он и родился, и безвылазно живет в Исла-де-Леоне, откуда выбирается лишь изредка – то в Чиклану, то в Пуэртос, то в Кадис, где в одном богатом доме, у хороших людей служит в горничных его дочка, Мари-Пас. Вот ради того, чтобы вырастить ее и трех сестричек – единственный сын умер, не дожив до четырех лет, – да жену с престарелой и совсем хворой матерью, Фелипе работал на солеварне и промышлял незаконной охотой на этих каналах и на низменных, заливаемых приливом берегах,

каждую пядь которых он знает лучше собственных мыслей. Как и все местные, кто в мирное время зарабатывал тут себе на жизнь, он уже год как записан в некий ополченский отряд – иррегулярную егерскую роту, сколоченную жителем Ислы доном Кристобалем Санчесом де ла Кампой. Там кормят и время от времени платят жалованье. Тем более что французы Мохарре не нравятся: отнимают хлеб у бедных, вешают, женщин сильничают, да и вообще они враги Бога и короля.

– Ну вот вам и редут ваш, сеньор капитан.

– Тот самый, «Гренадер»? Ты уверен?

– Другого тут нет. Вон – шагов двести будет.

Мохарра, повалившись на спину на низенький песчаный взгорбок, но не выпуская из рук ружья, смотрит, как Вируэс достает из сумки свои принадлежности, раздвигает подозрную трубу, вымазывает тиной блестящую латунь и стекло на дальнем конце – объектив или как он там называется? – оставляя чистое пятнышко лишь в самом его центре. Потом подползает на гребень, наставляет ее на неприятельские позиции. Предосторожность не лишняя, потому что светает, на небе – ни облачка, и солнце, уже золотящее горизонт, совсем уж скоро появится меж Медина-Сидонией и сосновыми рощами Чикланы. Именно такой час предпочитает капитан Вируэс для своих зарисовок: как он однажды объяснил Мохарре, горизонтальные лучи яснее выделяют черты, как говорится, и формы.

– Взгляну, не высадились ли мавры... – шепчет солевар.

Волоча за собой ружье, он на коленях ползет вдоль гребня, осматривает окрестности – невысокие унылые дюны, кустарник, заросли тростника, груды ила, лужи, похрустывающие, как наступишь, белесой коркой соли. Французов нет. Когда он возвращается, капитан уже отставил в сторону трубу и споро чиркает карандашом в блокноте. Мохарра в очередной раз дивится: даст же Бог такой дар – как быстро и точно переносятся на бумагу очертания бастиона, возведенные из сухого ила стены, корзины, фашины, туры и выглядывающие из бойниц жерла пушек. Этот пейзаж, почти не меняясь, повторяется время от времени на протяжении всей двенадцатимильной излучины, что тянется от Трокадеро до крепости Санкти-Петри и запирает Исла-де-Леон и город Кадис. Параллельно ей идут оборонительные линии испанцев: редкая сеть батарей, которые перекрестным огнем с флангов не позволяют императорской армии предпринять прямой штурм.

Из форта доносится сигнал горна. Солевар, вытянув немного шею, видит, как сине-бело-красный флаг вползает на мачту и, не подхваченный ветром, вяло обмякает на верхушке. Пора перекусить. Достав из патронной сумы ломоть черствого хлеба, он принимается грызть его, вытряхнув предварительно в рот из фляги несколько капель воды.

– Ну, сеньор капитан, как получается?

– Дивно, – отвечает Вируэс, не поднимая головы от рисунка. – Ну а что вокруг?

– Тишь да гладь... Все спокойно.

– Ну и хорошо. Еще полчасика – и тронемся назад.

Мохарра тем временем замечает, что вода в узком проходе меж островами потихоньку приходит в движение и обнажает берега. Это значит, что далеко, в бухте, начинается отлив. И еще – что шлюпка, оставленная в полутора милях отсюда, скоро сядет своим плоским дном в тину. И через несколько часов на последнем отрезке пути в Карраку придется выгребать против течения, а это еще больше осложнит возвращение. Да, так уж водится в этой забавной войне в здешних местах: прилив и отлив, зависящие от движения вод ближней Атлантики, придают еще больше своеобразия боевым действиям – вылазкам, контрбатарейному огню, маневрам юрких канонерок, которые благодаря своей мелкой осадке скрытно крадутся по лабиринту больших и малых каналов и проток.

Вот и первый, красноватый, почти горизонтальный солнечный луч, скользнув меж кустов, осветил капитана Вируэса, по-прежнему сосредоточенно чиркающего карандашом в

своем альбомчике. Иногда, в минуты бездействия – во время таких вылазок на раннем-раннем рассвете не обойтись без долгого терпеливого ожидания, – солевар видел, как капитан рисовал с натуры и другое – то цветок, то угря, то краба. И неизменно – с той же стремительной беглостью. Однажды, на Новый год, когда пришлось дожидаться наступления темноты, чтобы незамеченными убраться восвояси от французской батареи, выдвинутой к излучине у Сан-Диего, и они, стуча зубами от холода, пережидали в разрушенной градирне, капитан изобразил самого Мохарру, и вышло довольно похоже: бакенбарды густотой соперничают с косматыми бровями, лоб и щеки рассечены резкими, глубокими морщинами, во всем облике сквозит суровое упорство человека, выросшего на солнце и ветру, в жгучей соли. Вернувшись на испанские позиции, капитан Вируэс подарил портрет своему напарнику, и тот, оставшись доволен, повесил его на стену – в простой рамке без стекла – в своем убогом домишке в Исле.

В отдалении – не меньше полулиги к возвышенной части канала Сурраке – гремят один за другим три орудийных выстрела, и тотчас им отзывается испанская батарея. Артиллерийская дуэль продолжается несколько минут; в небе мечутся и гомонят перепуганные птицы; потом все снова стихает. Вируэс, зажав карандаш в зубах, вскидывает трубу и снова изучает неприятельские позиции, вполголоса перечисляя детали, словно бы для того, чтобы покрепче улеглись в голове. И снова принимается рисовать. Мохарра, чуть приподнявшись, в очередной раз оглядывается, удостоверяется, что все тихо.

– Ну, сеньор капитан, как дела?

– Еще десять минут.

Солевар удовлетворенно кивает. Впрочем, десять минут, смотря по тому, где, когда и как они выпадут, иной раз дольше вечности. И потому, став на колени и стараясь не высовывать голову из-за гребня, он расстегивает штаны и мочится в канал. Справив нужду, достает из кармана зеленый выцветший платок, которым иногда обвязывает голову, накрывает им лицо, ложится на спину, примостив ружье между колен, и засыпает. Как младенец.

* * *

Узкое, забранное решеткой окно тесной, запущенной комнатки выходит на улицу Мирадор и на угол Королевской тюрьмы. На стене висит портрет – неумелой кисти неизвестного автора – его юного величества короля Фердинанда Седьмого. Два стула, обитые потрескавшейся кожей, рабочий стол с чернильным прибором, перьями, карандашами, деревянным подносом, заваленным документами. На столешнице развернут план Кадиса, над которым склонился Рохелио Тисон. Уже довольно давно комиссар изучает три сектора, отмеченные карандашными кружками: венту Хромого на перешейке, перекресток улиц Амоладорес и Росарио и тот проулок почти что на углу Сопраниса и Глории, рядом с церковью Санто-Доминго, где был обнаружен труп девушки, убитой, как теперь выясняется, при тех же обстоятельствах, что и две другие. Безымянный проулок отстоит не дальше пятидесяти шагов от дома, в который вчера угодила бомба. Глядя на план, нетрудно убедиться, что все три преступления совершены в восточной части города, в пределах досягаемости французской артиллерии, бьющей с Кабесуэлы в Трокадеро, то есть с дистанции в две с половиной мили.

Это невозможно, повторяет комиссар. Рассудок старого профессионала, привыкшего руководствоваться очевидностью, отвергает взаимосвязь убийств с попаданиями французских бомб, о которой настойчиво твердит наитие. Нет этой связи, это всего лишь колоритная версия, одна из многих возможных, но маловероятная. Это – смутное, зыбкое подозрение, лишенное серьезных оснований. И тем не менее нелепая идея, повергая Тисона в какой-то необъяснимый умственный столбняк, не дает ему разрабатывать другие. Опрашивая в последние дни жителей квартала, где почти полгода назад упала первая бомба, он сумел установить: она тоже разорвалась. И, в точности как две последующие, засыпала окрестности кусочками свинца, неотличи-

мыми от тех, что лежат сейчас в ящике его стола – в полпяди длиной, тонкие и витые, очень похожие на те, черт их знает, как они называются, железки, которыми, нагрев, цирюльники завивают женщинам локоны.

Водя пальцем по плану вдоль городских стен и путаницы улиц, Тисон дает волю своему воображению, рисует картину, уже выученную во всех подробностях: площади, улицы, закоулки, с наступлением вечера тонущие во тьме, те кварталы, до которых долетают французские бомбы, и другие, подальше, – те, которые остаются в безопасности... Комиссар не большой знаток военного дела, а уж артиллерии – тем паче. Он знает лишь то, что и каждый уроженец Кадиса, с детства видящий вокруг армию, корабли Армады и пушки, глядящие из бойниц в крепостных стенах или из орудийных люков. А потому и обратился несколько дней назад за консультацией к человеку более чем сведущему. Так и так, хочу выяснить все, что касается французских бомб. И понять, почему одни разрываются, а другие – нет. А также – почему падают туда, куда падают. Эксперт, артиллерийский капитан по имени Виньяльс, старый знакомый хозяина кофейни «Коррео», присев в патио за мраморный столик и рисуя по нему карандашом, растолковал Тисону решительно все – расположение неприятельских батарей, роль, которая отведена орудиям Трокадеро и Кабесуэлы в осаде города, траектории бомб и то, почему одни кварталы попадают в радиус действия, а другие остаются недосыгаемы.

– Вот-вот, об этом и поговорим поподробней, – вскинул руку Тисон. – О радиусах действия.

Офицер улыбнулся, как бы говоря: «Старая и хорошо известная песня». Этот человек средних лет, с седеющими баками и кустистыми усами, носил присвоенный его роду войск синий мундир с алым воротником. Три недели в месяц он проводил на передовой – в форте Пунталес, стоящем всего в миле от позиций французов и под их непрерывным огнем.

– Неприятель столкнулся с известными трудностями, – ответил он. – Они до сих пор не сумели перейти некую воображаемую черту, разделяющую город на северную и южную зоны. А уж как старались...

– Расскажите, что это за линия такая.

Сверху вниз, пояснил артиллерист. От Аламеда до старого собора. То есть более двух третей территории остаются недосыгаемы для их огня. Они пытались увеличить дальность, но не смогли. И потому все гранаты, выпущенные по Кадису, падали в восточной части города. До сегодняшнего дня их было тридцать...

– Тридцать две, – поправил Тисон, изучивший вопрос. – Из них разорвалось одиннадцать.

– Естественно. Дальность большая, ядро летит долго, фитили гаснут. А иногда оказываются короче, чем надо, и тогда граната взрывается на полпути. Какие только виды взрывателей – трубок, как говорят у нас в артиллерии – они не перепробовали! Я сам их осматривал, когда удавалось собрать: разные виды металла и дерева и по крайней мере десять видов гремучих смесей для воспламенения заряда...

– Есть ли различия между бомбами?

Дело не только в снарядах, которыми обстреливают Кадис, объяснил артиллерист, но и в разных типах орудий, которые ими стреляют. Основных три: полевые, мортиры и гаубицы. От Кабесуэлы до городских стен почти пол-лиги, так что полевые не годятся. Дальности не хватает, снаряд уходит в море. Потому французы используют орудия, которые стреляют под большим углом возвышения, по крутой траектории: это гаубицы и мортиры.

– По нашим сведениям, первые испытания мортир прошли в конце прошлого года: это восьми-, девяти-, одиннадцатидюймовые орудия, вывезенные из Франции, но их снаряды даже не перелетали через бухту. Тогда прибегли к помощи некоего Пера Роза для отливки новых пушек... Вам что-нибудь говорит это имя, комиссар?

Тисон кивнул. Через своих осведомителей он и в самом деле знал, что есть такой Пер Роз – каталонец из Сео-де-Уржеля, испанец на французской службе, присягнувший королю Жозефу, обучавшийся литейному делу в Барселоне и Сеговии. Ныне занимает в Севилье должность управляющего артиллерийским заводом.

– Лягушатники заказали ему, – продолжал меж тем Виньяльс, – семь двенадцатидюймовых мортир системы «Дедон» со сферической камерой. Однако изготовление оказалось очень трудоемким, а результаты стрельб просто обескураживали. Так что первую привезли из Севильи, опробовали – и производство приостановили... Тогда обратились к гаубицам Вильянтруа, вы, может быть, слышали – о них было много разговоров в декабре, когда нас обстреливали из них с Кабесуэлы... Восьмидюймовые, предельная дистанция не свыше двух тысяч туазов, то есть, по-нашему, – три тысячи четыреста вар. И кроме того, с каждым выстрелом дальность уменьшается.

– Почему?

– Насколько я понял, из-за того что для выстрела требуется слишком большое количество пороха, снашивается запальный канал... Беда, да и только...

– Из чего же они стреляют сейчас?

Артиллерист пожал плечами. Потом достал из кармана кисет с мелко нарезанным табаком, курительную бумагу и принялся свертывать себе сигарету.

– Этого мы в точности не знаем. Одно дело – получать всякие устарелые сведения от перебежчиков и лазутчиков, а другое – быть в курсе самых последних событий... Известно лишь, что этот каталонский предатель занялся под руководством генерала Рюти отливкой новых гаубиц... десятидюймовых, кажется. По крайней мере, гранаты, что прилетают к нам в Кадис, именно этого калибра.

– А зачем их начиняют свинцом?

Капитан затаился и выпустил дым:

– Не все. Три недели назад в оконечность мола угодила литая – их еще называют «сплошная» – граната. Ну или почти литая. Другие несут обычный пороховой заряд, и вот у них-то наименьшая дальность, и они чаще всего взрываются в полете. А с этими, начиненными свинцом, – таинственная какая-то история... Каждый толкует по-своему.

– А вы как толкуете?

Капитан допил кофе и, подозвав официанта, заказал еще чашку. С капелькой водки – это для пищеварения хорошо. В Пунталесе у нас у всех нелады с желудком.

– Французская артиллерия – лучшая в мире, – продолжал он. – Они воюют уже много лет, так что могли попробовать и то и это. Не забудьте, что и сам Наполеон – артиллерист. У них самые сильные теоретики в этой области. Я-то думаю, свинец в гранатах – тоже нечто вроде эксперимента. Ищут способ увеличить дальность.

– Но почему именно свинец? Не понимаю.

– Потому что это самый тяжелый металл. Благодаря максимальному удельному весу можно послать снаряд по более пологой и протяженной параболе. Имейте в виду, что дистанция зависит от веса и плотности. И разумеется – от ударной силы, сообщаемой пороховым зарядом, и от условий окружающей среды. Короче говоря, все оказывает воздействие.

– А почему такая странная форма?

– Их изгибает и выкручивает силой самого взрыва. Свинец заливается в ядро в расплавленном виде и застывает длинными тонкими пластинами. При взрыве они завиваются на манер штопора... Ну, так или иначе, французы не успокаиваются на достигнутом. Трудно работать на таком расстоянии. Сомневаюсь, что кто-нибудь из наших артиллеристов был бы способен на подобное... И не потому, что не хватает идей или способностей. У нас есть и теоретики, и практики. Денег нет. А лягушатники тратят просто чудовищные средства. Каждая граната, которую они пускают в Кадис, обходится им в круглую сумму...

И вот сейчас, сидя в своем кабинете и вспоминая разговор с капитаном, Рохелио Тисон изучает план Кадиса, вопрошая его, как сфинкса. Мало, мало, слишком мало, думает он. Просто ничего. Тычется, как слепец. Пушки, гаубицы, мортиры. Бомбы. Завитой, как штопор, кусочек свинца, который он достал из ящика и мрачно взвешивает на ладони. Слишком смутно. Слишком неопределенно ставится цель поисков. Слишком расплывчато. И может быть, подозрение, что существует тайная связь между бомбами и убитыми девушками, ни на чем не основано. Как ни крутись, а верной приметы, безошибочного признака, реального следа нет. Только эти штопоры, причудливые, как предчувствия. И полнейшее ощущение того, что стоишь, набив карманы свинцом, на закраине колодца, темного и бездонного. И все. И больше ничего. Кроме разостланного на столе плана Кадиса – этой странной шахматной доски, по которой какой-то невероятный игрок двигает фигуры, делает ходы, недоступные разумению Тисона. Никогда прежде не случалось с ним такого. В его года подобная неопределенность страшит и смущает. Немного. И гораздо сильнее – бесит.

Он злобно отшвыривает оглодок пера в ящик, с грохотом задвигает его. Бьет кулаком по столу – с такой силой, что из подпрыгнувшей чернильницы выплескивается на краешек плана несколько капель. Так тебя и так, и твою мать заодно! Услышав шум, помощник из соседней комнаты просовывает голову в дверь:

– Что-нибудь случилось, сеньор комиссар?

– Занимайтесь своим делом!

Секретарь отдергивает голову с проворством испуганной крысы. Он умеет определять симптомы. Тисон разглядывает свои руки, лежащие на столе, – ширококостные, грубые, жесткие. Способные причинить боль. Если нужно, они умеют и это.

«Когда-нибудь доберусь до конца, – думает он. – И кто-то дорого заплатит мне за все это».

* * *

Лолита Пальма очень бережно помещает в гербарий три листка амаранта так, чтобы они оказались рядом с собственноручным цветным изображением всего цветка. Каждый листок – два дюйма в длину и кончается маленьким ярким шипом, позволяющим без труда классифицировать его как *Amaranthus spinosus*. У нее такого раньше не было – эти прислали ей несколько дней назад из Гуаякиля в одном пакете с другими засушенными листьями и растениями. И Лолита чувствует теперь удовлетворение коллекционера, пополнившего свое собрание. Тихую, совсем особенную радость, столь желанную ей. Дождавшись, когда просохнет клей, прикрепляющий экземпляры к картону, она прокладывает их листком папиросной бумаги, закрывает альбом и ставит его на полку застекленного шкафа рядом с другими, помеченными прекрасными именами уникальных творений природы: *Хризантема*, *Ромашка*, *Астра*, *Василек*. Комната, примыкающая к рабочему кабинету, невелика, но вполне пригодна для ее занятий ботаникой – удобна и хорошо освещена: одно окно выходит на улицу Балуарте, другое – в патио. Шкаф разделен на четыре больших ящика, внутри у них – другие, маленькие, помеченные ярлычками в соответствии с содержимым; рабочий стол с микроскопами, лупами и прочими инструментами, книжная полка с томами Линнея, «Описанием растений» Каванильяса, ботаническими атласами «*Teatrum Florae*» Рабеля, «*Icones plantarum rariorum*»¹⁸ Жакена-Николауса и огромным фолиантом «Европейских растений» Мериана. На застекленном балконе – некое подобие зимнего сада, который тоже смотрит в патио, стоят горшки с девятью сортами папоротников, вывезенных из Америки, Южных островов и Вест-Индии. Еще пятнадцать разновидностей в огромных кадках украшают патио, балконы, куда не заглядывает солнце, и дру-

¹⁸ «Театр Флоры», «Изображения редких растений» (лат.).

гие тенистые места дома. Папоротник, *filice*, как называли его древние, растение, мужскую особь которого так доселе и не удалось отыскать ни классическим авторам, ни нынешним ученым-ботаникам, так что и самое его существование есть всего лишь гипотеза, – всегда был и остается любимцем Лолиты Пальмы.

В дверях появляется горничная Мари-Пас:

– Прошу прощения, сеньорита. Там внизу – дон Эмилио Санчес Гинеа и с ним еще другой кабальеро.

– Скажи Росасу, пусть проводит в гостиную. Я сейчас приду.

Через четверть часа, зайдя по пути в свою туалетную причесаться, она спускается по лестнице, застегивая серый атласный спенсер поверх белой блузки и темно-зеленой баскины, пересекает патио и входит в то крыло дома, где располагаются контора и склад.

– Здравствуйте, дон Эмилио. Какой приятный сюрприз!

В небольшой удобной приемной, примыкающей к главному кабинету и конторским помещениям, по стенам, отделанным лакированными деревянными панелями, висят в рамках гравюры – морские пейзажи, виды портов английских, испанских, – стоят кресла, диван, часы «Хай энд Эванс», узкий шкаф с четырьмя полками, заставленными коммерческой литературой. Дон Эмилио и его спутник – он помоложе, темноволос и смугл – поднимаются с дивана при появлении хозяйки, ставят на столик китайские фарфоровые чашки с кофе, поданным дворецким Росасом. Лолита Пальма усаживается на свое обычное место – в отцовское кожаное кресло, жестом предлагает гостям присесть:

– Каким добрым ветром занесло вас ко мне?

Вопрос адресован старику, но смотрит она при этом на второго: ему лет сорок, волосы и баки у него темные, широкие плечи так и распирают синий, слегка потертый на локтях, обтрепанный по обшлагам сюртук с золотыми пуговицами. И руки тоже крепкие и ширококостные. Моряк, вне всяких сомнений. Слишком давно знается Лолита с этой братией, чтобы не отличить ее представителя с первого взгляда.

– Позволь представить тебе... – Дон Эмилио проводит церемонию быстро и деловито. – Капитан дон Хосе Лобо, мой старинный знакомец. Сейчас в Кадисе и в силу сложившихся обстоятельств – на берегу. Фирма Санчеса Гинеа намерена пригласить его для участия в некоем деле. Ну, ты помнишь. То, о котором мы с тобой недавно говорили на улице Анча.

– Простите, дон Хосе. Вы позволите?.. На минутку, дон Эмилио.

Оба поднимаются, когда она встает с кресла и жестом приглашает старика в соседний кабинет. Уже на пороге, прежде чем закрыть за собой дверь, Лолита Пальма окидывает моряка взглядом: Лобо стоит посреди гостиной, вид у него несколько настороженный, но спокойный и любезный. Происходящее словно забавляет его. Этот малый из тех, успевает подумать она, кто улыбается одними глазами.

– Зачем такие ловушки, дон Эмилио?

Тот протестует:

– Какие ловушки, дитя мое? Просто хотел, чтобы ты познакомилась с этим человеком. Пепе – опытный капитан, отважный, умелый, толковый. Прекрасный момент нанять его: он на мели и согласен будет законтрактоваться на любое корыто, лишь бы плавало. Уже удалось приобрести корабль и выправить патент на... ну, ты помнишь, о чем мы говорили, и к концу месяца он уже сможет выйти в море.

– Я ведь вам сказала, дон Эмилио, что с корсарами якшаться не желаю.

– И не якшайся, кто тебя неволит? Всего лишь прими участие. Все прочее – мое дело. Вчера утром я внес залог за судно.

– И что же это за судно?

Санчес Гинеа с благодушием человека, совершившего удачное приобретение, начинает расписывать: французский одномачтовый тендер, сто восемьдесят тонн, был захвачен корса-

ром из Альхесираса и там же продан на торгах двадцать дней назад. Старый, но в превосходном состоянии. Может нести на борту до восьми шестифунтовых орудий. Раньше назывался «Кольбер», а теперь по созвучию – «Кулебра»¹⁹. Куплен за двадцать тысяч реалов. Смена таке-лажа, оружие и боеприпасы потянули еще приблизительно на половину этой суммы.

– Рейсы будем совершать короткие: из Сан-Висенте до Гаты или, самое дальнее, до Палоса. Поменьше риска и побольше возможностей получить барыш... Деньги верные, твердо обещаю тебе. Две трети нам с тобой – пополам. Третью – капитану и команде. Все абсолютно законно.

Лолита Пальма глядит на запертую дверь:

– Что еще известно об этом человеке?

– В последних рейсах удача от него отвернулась, но моряк он хороший. Во время последней войны ходил Проливом. Командовал шестипушечной шхуной... Поначалу все шло гладко, и дело приносило большой доход... Я-то знаю, потому что был одним из ее совладельцев. Но под конец не повезло: у мыса Трес-Форкас наварались на английский корвет.

– Кажется, вы мне что-то рассказывали об этом капитане... Это не он бежал с Гибралтара?

Дон Эмилио одобрительно смеется – эти воспоминания доставляют ему удовольствие.

– Он самый. Вместе со своими людьми захватил и угнал тартану. С тех пор уже четыре года плавает на торговых судах, но совсем недавно вдрызг разругался с последним арматором.

– И с кем же именно?

– С Игнасио Усселем.

Старый негоциант, произнося это имя, вздернул брови и взглянул на Лолиту пытливо и многозначительно. Весь Кадис знает, что компания «Пальма и сыновья» не закрыла свой счет по отношению к фирме Игнасио. В пору кризиса девяносто шестого года Томас Пальма, потеряв из-за вероломства Усселя три важных фрахта, был на волосок от разорения. И Лолита Пальма этого не забыла.

– У нас есть подписанный Регентством корсарский патент на два года, – продолжает дон Эмилио. – Есть корабль на плаву, есть капитан, способный сколотить хороший экипаж. И есть занятое врагом побережье, мимо которого ходят туда-сюда корабли, французские и наши, из оккупированных провинций. Чего еще желать? И еще есть премии за сам факт захвата, не говоря уж о стоимости кораблей и груза.

– То есть вы, дон Эмилио, подаете это как исполнение патриотического долга?

Старик добродушно смеется:

– И это тоже, девочка моя, и это тоже. А заодно и свой интерес блюдетсЯ, и ничего дурного здесь нет. И ничего зазорного для коммерческой компании в том, чтобы снарядить корсара.

Пусть вспомнит, что и Томас это делал не моргнув глазом. И старался напакостить англичанам где мог. Стыдиться тут нечего. Это ж не работоторговля.

– Ты ведь знаешь, я располагаю свободными средствами. И что могу найти других партнеров – тоже знаешь. Речь о выгодном помещении капитала. И я, как и раньше, долгом своим почитаю предложить это дело прежде всего тебе.

Пауза. Лолита Пальма по-прежнему смотрит на дверь.

– Испробуй его... Потолкуй, узнай, чем дышит, – ободряюще говорит дон Эмилио. – Он человек занятый... Прямой... Мне он как-то пришелся по сердцу.

– Вы, похоже, склонны всецело ему довериться? Так хорошо его знаете?

– Мой сын Мигель плавал с ним. В Валенсию и назад. Как раз когда эвакуировали Севилью и творилась черт знает какая паника. Да еще и в шторм попали. Ну так вот, он вернулся в полном восторге от него, все твердил, какой это на редкость толковый и хладнокровный чело-

¹⁹ Culebra (исп.) – змея.

век... Это он, кстати, узнав, что Пепе в Кадисе и без работы, посоветовал позвать его в капитаны «Кулебры».

– Он здешний?

– Нет, родился на Кубе, насколько я знаю. В Гаване, что ли.

Лолита Пальма рассматривает свои руки. Все еще красивы – длинные пальцы, не слишком выхоленные, но хорошей формы ногти. А Санчес наблюдает за ней. С задумчивой улыбкой. Потом встряхивает головой и говорит добродушно:

– В нем, знаешь ли, что-то есть... Какая-то внутренняя потаенная сила... Изюминка какая-то... Он не слишком изыскан, разумеется; может быть, даже немного грубоват... Слово *кабальеро* к нему не вполне подходит. Уверяют, он не очень-то щепетилен насчет того, что касается юбок.

– Пощадите, дон Эмилио! В хорошем свете вы егоставляете передо мной, нечего сказать...

Старик, словно обороняясь, выставил перед собой обе руки:

– Я говорю все как есть. Знаю тех, кто терпеть его не может и в грош не ставит, и тех, кто отдает ему должное. И, как говорит мой сын, сии последние отдадут за него последнюю рубаху.

– А женщины? Им что отдавать?

– Это уж ты сама решаешь.

Они переглянулись с улыбкой. У Лолиты она вышла невеселой и какой-то смутной. У дон Эмилио – в ней сквозит удивление и словно бы даже любопытство.

– Во всяком случае, – договорил он, – мы ведь его не на бал плясать зовем. А на мостик корсара.

* * *

Струнный перебор. В свете масляной лампы влажно лоснится смуглая кожа танцовщицы. Черные пряди прилипли ко лбу. Двигается как кобылица в поре, думает Симон Дефоссё. Грязная испанка, темноглазая испанка. Цыганка, наверно, думает он. Здесь все смахивают на цыган.

– Будем использовать свинец, – говорит он Бертольди.

Заведение набито битком: здесь драгуны, артиллеристы, моряки, линейная пехота. Только мужчины. Одни офицеры. Сидят на скамьях, табуретах, стульях вокруг залитых вином столов.

– Капитан... Неужели ты нигде и никогда не забываешь об этом?

– Как видишь. Везде и всюду помню.

Махнув рукой – ничего, мол, не попишешь, – Бертольди осушает стакан и тотчас вновь наполняет его из большого кувшина. В воздухе колышутся плотные полотнища серого табачного дыма. Терпко, остро несет потом из-под расстегнутых мундиров, раскрытых на груди сорочек, распахнутых жилетов. Кажется, даже ко вкусу вина – густого, но скверного, которое не веселит, а дурманит, – примешивается этот запах – едкий и какой-то мутный, под стать десяткам взглядов, неотступно следующих за каждым движением женщины, которая, дразняще изгибаясь и раскачиваясь, похлопывая себя по бедрам, пляшет под звон гитар.

– Ах, сучка... – бормочет Бертольди, не сводя с нее глаз.

И еще мгновение наблюдает за танцовщицей, лишь потом обернувшись к Дефоссё:

– Свинец, говорите?

Капитан кивает. Это единственное решение, говорит он. Инертный свинец. Бомбы по восемьдесят–девяти фунтов, без пороха, без запальных трубок. Это увеличит дистанцию не менее чем на сотню туазов. А при благоприятном ветре – и того больше.

– Поражающее действие ничтожно, – напоминает Бертольди.

– Усилением его займемся позже. Сейчас важно добиться, чтобы долетало до центра города. До площади Сан-Антонио или куда-нибудь поблизости.

– Решились, значит?

– Окончательно и бесповоротно.

Бертольди, пожав плечами, поднимает стакан:

– В таком случае – за «Фанфана»!

– Да, за него. – Дефоссё слегка дотрагивается до лейтенантова стакана краешком своего. – За «Фанфана»!

Гитары смолкают. Гремят рукоплескания. Несутся восторженные выкрики на всех европейских языках. Танцовщица, гибко перегнув стан, отклоняет стан назад и, еще не успев опустить вскинутую руку, обводит публику взглядом чернейших глаз. Вызывающе и самоуверенно. Она знает, что теперь может выбирать среди тех, кого разожгла своим танцем. Инстинкт или опыт, в отличие от возраста немалый, подсказывают, что любой из присутствующих, стоит ей лишь остановить на нем взгляд, осыплет её лажки золотым дождем. Время для этого самое подходящее. Здесь в немалом числе да в нужном месте собрались мужчины в соку, а война вовсе не обязательно означает разорение. По крайней мере, не для всех: не для тех, у кого такое, как у нее, статное тело, такой темный взгляд. Размышляя об этом, Симон Дефоссё шарит глазами по смуглым рукам танцовщицы, замечая, как поблескивают капли пота в корсаже ее платья, с бесстыдной откровенностью выставяющего напоказ груди. Может быть, придет день, когда эта женщина, состарившись и увянув, будет умирать с голоду на какой-нибудь грядущей войне. Но уж не на этой. Достаточно лишь увидеть, как окутывает ее облако похотливых взглядов; с какой алчной расчетливостью, лишь слегка прикрытой деланой скромностью, оба гитариста – кто они ей: отец и брат? кузены? любовники или сутенеры? – сидя на низких стульчиках с инструментами на коленях, озираются по сторонам, улыбаются рукоплесканиям, прикидывают, откуда, из чьего кошелька донесется сегодня вечером самый сладостный звон. Почему пойдет нынче на скудном рынке женского тела предполагаемая честь их дочери, сестры, кузины, любовницы, подопечной, сколько отвалит за нее французские сеньоры, набившиеся в заведение в Пуэрто-Реале. Ибо одно дело отчизна и наш пресветлый государь дон Фернандо и другое – утроба, которая каждый день требует пропитания.

Выйдя на улицу, Симон Дефоссё и лейтенант Бертольди с облегчением ловят свежий бриз. Кругом темно. Большая часть жителей ушла с появлением императорских войск, и покинутые дома обращены в солдатские казармы, а патио и сады – в конюшни. Разграбленная церковь служит теперь пакгаузом и арсеналом, алтарь разломан и пущен на дрова для бивачных костров.

– Эта гитана меня разожгла, – замечает Бертольди.

Улица приводит их на берег моря. Купол безлунных небес над плоскими крышами приземистых домишек – весь в звездных россыпях. В полулиге к востоку, по ту сторону чернеющего пятна бухты, виднеются далекие одиночные огоньки в неприятельском арсенале на Карраке и в городке на Исла-де-Леоне. Как это обычно и бывает, осажденные кажутся гораздо беспечней и свободней, нежели осаждающие.

– За три месяца – ни одного письма, – говорит лейтенант спустя еще несколько минут. – Будь оно все проклято...

Дефоссё в темноте морщится. Он может без запинки продолжить ход мыслей своего спутника. У него и самого все мысли – об оставленной в Мерце жене. И о сыне, которого не успел даже толком узнать. Уже два года здесь. Да, почти два. А сколько еще – неизвестно.

– Сволочь испанская! – злобно бормочет Бертольди. – Рвань проклятая, вшивая шпана...

За последние недели он утратил свое неизменно доброе расположение духа, сделался желчен и раздражителен. Как и Бертольди, как и еще двадцать три тысячи французов, размещенных между Санкти-Петри и Чипионой, Дефоссё не знает, что делается сейчас на родине

и в остальной Европе. Он располагает лишь слухами, предположениями, толками разной степени достоверности. Туман, одно слово. Относительно свежая газета, недавно выпущенная брошюра, письмо стали редкостью, диковинами, которые ему в руки не попадают. Не получают они и писем от родных, а те – от них. Этому препятствуют геррильеро и просто бандитские шайки, действующие на коммуникациях. Передвигаться по Испании – то же, что по арабскому Востоку: почтальонов и курьеров перехватывают, похищают, убивают среди скал или в лесу, и без неприятных сюрпризов удастся странствовать лишь под сильным конвоем. От Хереса до Севильи тянется цепь блокгаузов, но их малочисленные гарнизоны живут в вечном страхе, постоянно оглядываясь и не снимая пальца с курка, ибо в равной степени опасаются и противника, который постоянно кружит где-то поблизости, и местных жителей у себя за спиной. И с приходом темноты мятежники берут безраздельную власть над каждым полем, над каждой дорогой, а тот несчастный, кто рискнет появиться там без надлежащей охраны, угодит в смертельную западню и утром, замученный самым зверским образом, будет найден где-нибудь в дубовой роще, в сосновом перелеске. Так воюют в Испании, так сражаются в Андалусии. Какая там оккупация, видимость одна! И захватчики грозны более репутацией своей, нежели действиями. Части Первого корпуса, осаждающие Кадис, чересчур удалены от главных сил. Отъединенные от всего и вся солдаты будто отбывают ссылку, которая совершенно неизвестно чем кончится в этом враждебном краю, где скука и чувство заброшенности, столь же отупляющие, сколь и одуряющие, словно наркотическое зелье, владеют даже самыми лучшими бойцами, и те наравне со всеми страдают от неприятельского огня, болезней и жестокой ностальгии.

– Завтра хороним Бувье, – мрачно говорит Бертольди.

Капитан не отзывается. Тем более что его субалтерн и не намеревался сообщить ему некое новое сведение, но всего лишь высказывает вслух то, что у него на душе. Луи Бувье, лейтенант артиллерии, вместе с которым они проделали путь из Байоны в Мадрид, а потом были откомандированы на батарею в Сан-Диего под Чикланой, не так давно занемог нервным расстройством, вогнавшим его в глубочайшую меланхолию. Два дня назад он схватил чье-то неосмотрительно оставленное ружье, вбежал с ним в барак, сунул ствол в рот и, большим пальцем правой ноги спустив курок, вышиб себе мозги.

– Черт! Мы с тобой в самой заднице мира...

Дефоссё по-прежнему молчит. Легкий ветерок несет с собою запахи ила и водорослей – начинается отлив. У крайних домиков поселка смутно виднеются полевые палатки и укрепления, возведенные на тот случай, если неприятель высадит морской десант. Слышно, как перекликаются часовые, негромко ржут лошади в патио, обращенных в полковые конюшни. Бесчисленное множество разных звуков, которые производят тысячи копошащихся в ночи, спящих или бодрствующих людей, сливается в однотонный тихий гул. Армия села перед городом на мель.

– Что ж, я считаю: со свинцом – это толково придумано... – говорит Бертольди тоном человека, хватающегося за все, что плавает.

Дефоссё, сделав еще два шага, останавливается, глядит на далекие огни. Мысленно он прокладывает новые траектории, проводит безупречно вычерченные кривые, прекрасные в своем безупречном совершенстве параболы.

– Это единственный способ увеличить дальность... Завтра попытаемся сместить центр тяжести. Изменим период вращения в канале ствола, – может, возымеет действие...

Снова молчание. Долгое.

– А знаешь, о чем я думаю, мой капитан?

– Понятия не имею.

– О том, что ты никогда не последуешь примеру бедняги Бувье.

Дефоссё улыбается в темноте. Он знает: его помощник прав. Он не застрелится – до тех пор, по крайней мере, пока есть задачи, подлежащие решению. Это не вопрос упорства или

отчаянья. Стальная нить, прочно привязывающая его к здравому смыслу, сплетена из убеждений, а не из чувств. И такие слова, как «долг», «отчизна» или «товарищество», столь важные для Бертольди и других, здесь ни при чем. В его случае дело идет о весах, объемах, долготях, возвышении, плотности, сопротивлении воздуха, вращении. Об аспидной доске и правилах счисления. Обо всем, что позволяет Симону Дефоссё, капитану артиллерии императорской армии, не ломать себе голову сомнениями, не относящимися к сфере чистой техники. Страсти губят людей, но страсти их и спасают. Его страсть – увеличить дистанцию выстрела на семьсот пятьдесят туазов.

* * *

В кабинете, под портретом Фердинанда Седьмого – трое. Утренний свет наискось бьет через щель в гардинах, вспыхивает искрами на золотом шитье по вороту, лацканам и обшлагам генеральского мундира.

– Это все? – спросил командующий океанской эскадрой и военный губернатор Кадиса генерал-лейтенант дон Хуан Мария де Вильявисенсио.

– Пока все.

Губернатор аккуратно положил донесение на зеленое сукно стола, смахнул с переносицы очки, заболтавшиеся на продетом в петлицу золотом шнурке, и поднял глаза на Рохелио Тисона:

– Негусто.

Тисон покосился на своего непосредственного начальника – главноуправляющего полицией Эусебио Гарсию Пико. Тот – нога на ногу, большой палец правой руки сунут в жилетный карманчик – сидит несколько отдельно, как бы в стороне. Лицо невозмутимо и бесстрастно, словно он размышляет о предметах вполне далеких и материях посторонних и всем видом своим показывает, что оказался здесь случайно – так, мимо шел. Тисон, двадцать минут ожидавший приема, сейчас спрашивает себя, о чем могли беседовать эти двое перед тем, как его пригласили в кабинет.

– Это трудное дело, ваше превосходительство, – осторожно отвечает он.

Вильявисенсио продолжает рассматривать его. Генерал-лейтенанту пятьдесят шесть лет. Весьма деятелен, но при этом наделен и тонким политическим чутьем, хотя привержен старинным обычаям и настроен консервативно в отношении новых свобод и безоговорочной лояльности молодому королю, томящемуся во французском плену. Политик даровитый и поворотливый, военный моряк, участвовавший во многих битвах и снискавший себе уважение, губернатор Кадиса – города, где бьется сердце Испании патриотической и мятежной, – Вильявисенсио превосходно находит общий язык со всеми, включая князей церкви и англичан. Его настойчиво прочат в члены нового Регентства, и он будет там, когда нынешнее сложит свои полномочия. Одним словом, Тисон знает: этот человек – в большой силе и с большим будущим.

– Трудное... – раздумчиво тянет он.

– Именно так, ваше превосходительство.

Повисает долгое молчание. Тисону до смерти охота курить, но никто не предлагает. Губернатор, поигрывая очками, снова проглядывает четыре сколотых вместе листка донесения и откладывает в сторону – строго параллельно линии стола и ровно в двух дюймах от края.

– Вы, значит, уверены, что все три убийства совершил один человек?

Тисон кратко, в немногих словах, объясняется. Уверенным вообще ни в чем быть нельзя, однако почерк совпадает. И тип жертвы тоже. Очень молоденькие девушки из простонародья. В донесении указано: две были в прислугах, личность третьей установить не удалось. Вероятней всего – беженка, без семьи и определенного рода занятий.

– И что же... никаких следов... э-э... физического насилия?

Еще один быстрый, косой взгляд. Главноуправляющий безмолвием и неподвижностью подобен каменной статуе. Словно бы его здесь и вовсе нет.

– Их всех забили насмерть кнутом. Без жалости и пощады. Если уж это не физическое насилие, то пусть Христос сойдет с небес и скажет – что́.

Последняя реплика не пришлась по вкусу губернатору – человеку, как всем известно, весьма богобоязненному. Он хмурится и рассматривает свои руки – они у него тонкие и белые. Породистые, думает Тисон, такие и подобают офицеру флота: на службу в Королевскую армаду плебеев не берут. На пальце левой блестит перстень с великолепным изумрудом, лично подаренный императором Наполеоном, когда Вильявисенсио с соединенной франко-испанской эскадрой был в Бресте – то есть, значит, еще до Трафальгара, до похищения короля, до войны с Францией и до того, как все покатилося к дьяволу.

– Я имел в виду... Ну, вы понимаете... Другое насилие.

– Жертвы не были изнасилованы. По крайней мере, следов не обнаружено.

Вильявисенсио долго молчит, теперь устремив взгляд на комиссара. И ждет. Но Тисон не считает себя обязанным пускаться в объяснения, ибо не уверен, что губернатор ждет их от него. Его привел сюда Гарсия Пико. «Дон Хуан Мария, – сказал он, пока поднимались по лестнице, – и подобное титулование не напрямую, но внятно лишний раз предупреждало, кто есть кто, – дон Хуан Мария желает помимо письменного донесения получить сведения непосредственно от вас. В подробностях».

– В определенном смысле нам повезло с этой девушкой, – решает Тисон. – Никто ее не хватился, никто не заявил об исчезновении... Это позволит проводить дознание скрытно. Докучать и голову морочить нам не будут.

Едва заметным медленным кивком губернатор дает ему понять – он на верном пути. Ах, вот оно, значит, что, соображает Тисон, сдерживая улыбку, неуместно просящуюся наружу. Теперь понятно, о чем речь и что к чему. И куда целит Гарсия Пико. И на что он так многозначительно намекал, поднимаясь по лестнице.

Словно в подтверждение его правоты, Вильявисенсио небрежным движением руки с изумрудным перстнем указывает на рапорт:

– Три девушки, убитые... гм... столь своеобразно, – это уже не просто сложное дело... Это вопиющее зверство. И если дело получит огласку, выйдет большой скандал.

«Ага, теплей, теплей, – думает Тисон. – Сейчас будет совсем горячо, твое сволочное превосходительство».

– Да отчасти уже получило, – осторожно замечает он. – Слухи, толки, соседские пересуды. Это неизбежно, как вы сами изволите знать. Городок невелик, а народу – пропасть.

Он делает паузу, чтобы оценить действие произнесенных им слов. Губернатор взирает на него пытливо, и даже Гарсия Пико отрешился от своего напускного безразличия.

– Тем не менее, – продолжает комиссар, – мы пока еще можем совладать с этим. Припугнули немного кумушек и свидетелей. Все отрицаем, все решительно... И газеты до сей поры пока даже не пикнули.

Теперь наконец главноуправляющий счел нужным вмешаться. И от Тисона не укрылось, каким беспокойным взглядом он окинул губернатора, прежде чем заговорить.

– Пока. Именно что – пока. Однако история, леденящая кровь. Если журналисты вцепятся в нее, то уж не выпустят. Да и потом, свободу печати никто еще не отменял... Помешать газетчикам не удастся.

Вильявисенсио вскинул руку, заставляя его умолкнуть. Бросается в глаза, что это у него в обычае – прерывать собеседника, когда вздумается. В Кадисе командующий эскадрой – первый после Бога. А когда война – так и сам бог.

– Уже просочилось. Один из тех, кто слышал звон, – редактор «Эль Патриота». Тот самый, что в прошлый четверг очень настырно выпрашивал, насколько Божественное происхождение имеет власть монарха...

Он неожиданно замолкает, и последние слова повисают в воздухе. И смотрит на Тисона так, словно приглашает и его всерьез поразмыслить об этом.

– Газетчики разнуздались вконец, – добавляет он неприязненно. – И что мне им сейчас сказать? Сами знаете, с публикой какого рода нам приходится иметь дело. Разумеется, я все отрицал. К счастью, нашлось какую кость бросить этой своре. В Кадисе у всех на уме одна политика, даже война отходит на второй план. Дебаты в Сан-Фелипе-Нери требуют всего запаса чернил.

Возникнув в боковых дверях, к столу приближается адъютант в конногвардейском мундире и вполголоса обменивается с Вильявисенсио несколькими словами. Тот кивает, поднимается. И тотчас встают Тисон и главноуправляющий.

– Простите, господа. Принужден оставить вас ненадолго.

В сопровождении адъютанта он выходит из кабинета. Тисон и Гарсия Пико остаются на ногах, глядя в окно на крепостные стены, бухту и прочий пейзаж. Красивые виды открываются отсюда: должно быть, три года назад ими любовался и предшественник Вильявисенсио – генерал Солано, маркиз дель Сокорро, – пока разъяренная чернь не выволокла его отсюда, не потащила по улицам за то, что снюхался с французами. Солано крепко держался того мнения, что истинные враги испанцев – англичане и атаковать эскадру адмирала Росили, блокированную в бухте, – значит подвергать опасности город. Придя в неистовство, толпа горожан во главе со всяким припортовым отребьем – проститутками, контрабандистами и прочими подонками общества – приняла его слова близко к сердцу. Дворец губернатора был взят приступом, а Солано – зверски убит, причем устрешенные солдаты кадисского гарнизона пальцем не пошевелили в его защиту. Генерала растерзали на улице Адуана на глазах у Тисона, который тоже не вступился за него. Чистейшим безумием было бы ввязываться в это, а от того, какая участь постигла маркиза дель Сокорро, было ему ни жарко ни холодно. Было и есть. С неменьшим безразличием будет он взирать на генерала Вильявисенсио, если то же самое сегодня случится с ним. Или с Гарсией Пико.

Меж тем сей последний в задумчивости смотрел на комиссара:

– Полагаю, надо воспользоваться обстоятельствами.

«Ну еще бы! – сказал про себя Тисон, возвращаясь к действительности. – А иначе зачем бы ты стал тащить меня сюда, к этому хмырю с густыми эполетами».

– Если будут еще убийства, держать дело в тайне не удастся, – говорит он.

– Черт... – морщится Гарсия Пико. – С чего вы взяли, что будут? Сколько времени прошло с последнего?

– Четыре недели.

– А вы, мой друг, так и не нашли улики?

Тисон не оставляет без внимания этого «вы, мой друг». Но лишь качает головой:

– Никаких. Преступник всякий раз действует одинаково: нападает в уединенных местах на юных девушек. Затыкает рот и засекает до смерти.

На кратчайший миг его охватывает желание рассказать о совпадении с бомбами, но он сдерживается. Скажешь – придется слишком многое объяснять. А он не в настроении. И аргументов нет. Пока нет.

– Прошел месяц. Быть может, убийца устал.

Гримаса, перекашивающая лицо Тисона, должна означать сомнение.

– Все возможно, – отвечает он. – Но не исключено, что просто поджидает удобного случая.

– Считаете, будут еще убийства?

– Может, будут. А может, и нет. Кто его знает...

– В любом случае это ваше дело. И вам за него отвечать.

– Дело мое, но весьма нелегкое. Тут нужно будет...

Но начальство раздраженным взмахом руки обрывает:

– Послушайте, у каждого свои обязанности. У дон Хуана Марии – свои, у меня – свои. А у вас – ваши. И вам надлежит делать так, чтобы ваши не превращались в мои.

Последние слова он произносит, глядя на дверь, за которой скрылся Вильявисенсио. Потом снова поворачивается к Тисону:

– Не вижу больших препятствий к тому, чтобы схватить убийцу, действующего таким образом. Вы сами только что сказали: город невелик.

– Я еще сказал, что народу в нем – пропасть.

– Следить за этим самым народом – тоже ваша обязанность. Раскиньте сети, взбодрите агентуру. Вам за это жалованье платят. – Гарсия Пико, кивнув в сторону закрытой двери, понижает голос: – Если, не дай бог, случится еще одно убийство, нам потребуется козел отпущения. Тот, кого можно будет предъявить обществу... Понимаете? И покарать.

«Ага, вымолвил все-таки, разродился», – почти с облегчением думает Тисон.

– Такое трудно доказать, не получив признательных показаний...

«Голову мне не морочь», – добавляет выразительный взгляд комиссара, устремленный на собеседника. Оба они превосходно знают, что кортесы вот-вот законодательно запретят пытку и что даже судьям уже не под силу будет разрешить ее.

– Ответственность на вас, – гневно произносит Гарсия Пико. – Вся ответственность!

Возвращается Вильявисенсио. Вид у него разом и озабоченный, и отсутствующий. Губернатор глядит так, словно недоумевает: что эти двое делают у него в кабинете?

– Еще раз простите, господа... Сию минуту подтвердилось, что экспедиция генерала Лапены высадилась в Тарифе.

Тисон знает, что это значит. Ну или может себе это представить. Несколько дней назад шесть тысяч испанских солдат и еще сколько-то англичан под командованием генералов Лапены и Грэма на двух кораблях вышли из кадисской гавани курсом на восток. Высадка в Тарифе означает начало боевых действий в непосредственной близости от Кадиса – может быть, даже в Медина-Сидонии, где сходятся все коммуникации. И стало быть, готовится крупное сражение, чьи итоги – цепь сокрушительных поражений, приводящих к окончательной победе, как шутят местные острословы, – кадисское общество будет неделями обсуждать в кофейнях, в газетах и на званных вечерах, покуда генералы, которые вкупе со своими сторонниками смертельно завидуют друг другу и на дух друг друга не переносят, будут собачиться и скандалить.

– А потому вынужден извиниться... Срочные дела. Больше вас не задерживаю, господа...

Тисон и Гарсия Пико откланиваются, причем последний – со всеми протокольными церемониями. Губернатор отвечает рассеянно. Когда посетители уже на пороге, он вдруг спохватывается:

– Скажу вам прямо, господа, ясно и откровенно... Мы переживаем момент чрезвычайный и трагический... Как администратор, находящийся на ответственном военном и политическом посту, я обязан находить взаимопонимание не только с Регентством, но и с кортесами, с нашими британскими союзниками и с народом Кадиса. Безотносительно к войне и к французам. И не говоря уж о том, что на мне – управление городом, население коего удвоилось, а обеспечение продовольствием всецело зависит от морских путей... И что надлежит думать о возросшей опасности эпидемий и еще об очень многом другом... И как вы понимаете, зверские расправы, которые учиняет какой-то вконец ополоумевший маньяк, – это, без сомнения, ужасно, однако все же не главная из моих многообразных забот... По крайней мере, до тех пор, пока это не сделалось предметом публичного скандала. Я понятно выражаюсь, комиссар?

– Вполне понятно, ваше превосходительство.

– Ближайшие дни могут стать решающими, ибо высадка генерала Лапеньи способна переломить ход боевых действий в Андалусии. И стало быть, криминальная обстановка в городе отходит на второй план. Однако, если произойдет еще одно убийство, если эта история получит чрезмерную огласку, если общественное мнение потребует найти виновного, – он должен быть представлен незамедлительно. Надеюсь, и это понятно?

Да более или менее, думает полицейский. Но ограничивается лишь учтивым склонением головы. Вильявисенсио, повернувшись к посетителям спиной, направляется к своему столу.

– Да, вот еще что, – говорит он, усевшись. – Если бы мне по должности пришлось заниматься этим смрадным делом, я бы нанес, так сказать, упреждающий удар... Постарался бы немного, что ли, ускорить его ход.

– Вы имеете в виду, ваше превосходительство, взять кого-нибудь загодя?

Не обращая внимания на негодующий взгляд Гарсии Пико, Тисон полуобернулся с порога в ожидании ответа. И после недолгого молчания получил раздраженное и неприязненное:

– Я имею в виду убийцу, и никого больше. Но сейчас, когда в город хлынуло такое множество чужаков, не удивлюсь, если преступник окажется из их числа.

* * *

Дом семейства Пальма – большой, красивый, настоящий господский дом, один из лучших в Кадисе, и Фелипе Мохарра с приятным чувством гордости сознает, что там служит его дочка Мари-Пас. Стоит возле площади Святого Франциска: четыре этажа с пятью балконами и главным подъездом смотрят на улицу Балуарте, а четыре других – на улицу Доблонес, где вход в контору и на склад. Мохарра, прислонясь к тумбе на противоположной стороне, в саморрском одеяле на плечах, в шляпе, туго надвинутой поверх платка, обтягивающего голову, ждет, когда выйдет дочка, и курит самокрутку из мелко накрошенного табака. Солевар – человек гордый, с нерушимыми понятиями о том, какое место кому подобает занимать в этом мире. А потому, когда Мари-Пас предложила подождать ее в патио, пройти за кованую узорчатую решетку, где пол выложен мраморной плиткой, три арки с колоннами ведут на главную лестницу, а на стене перед маленьким алтарем с образом Пречистой Девы дель-Росарио горит лампадка, – отказался. Ему там быть не по чину. Его место – каналы и болота, его задубелым, сожженным солью ногам неуютно в альпаргатах, надетых по случаю приезда в город, – поскорей бы уж их сбросить. Он выехал спозаранку, выправив разрешение честь по чести, благо капитан Вируэс отправился в Карраку на военный совет, и он ему, стало быть, сегодня не понадобится. Вот Мохарра, уступая настоятельным просьбам жены, и отправился в город проведать дочку. Из-за войны и прочих обстоятельств они не виделись целых пять месяцев – с того дня, как по рекомендации приходского священника дочь поступила к Пальма в услужение.

И вот она появляется наконец на улице Доблонес, и солевар умиленно смотрит, как она идет к нему в белом муслиновом переднике поверх темной юбки, в полушалке, покрывающем голову и плечи. Розовая. Здоровенькая. Видно, досыта ест, слава тебе господи. В Кадисе жизнь полегче, чем в Исле.

– Доброе утро, отец.

Они не целуются, не обнимаются. По улице прохожие ходят, с балконов соседи смотрят, а Мохарра – люди с понятиями: не любят, чтоб о них говорили. Солевар, заложив большие пальцы за кушак рядом с роговой рукоятью навахи из Альбасете, лишь ласково улыбается и рассматривает дочку, явно довольный тем, что видит. Выросла, расцвела. Почти женщина. Мари-Пас тоже улыбается, отчего на щеках играют ямочки – те же, что в детстве. Не то чтоб писаная красавица, конечно, но очень славненькая. Глаза большие, нежные. Шестнадцать лет. Чистенькая, нежная, какой всегда была.

– Как матушка?

– Здорова. И сестрички твои, и бабушка. Велели кланяться.

Девушка показывает на дверь магазина:

– Не хотите зайти, отец? Росас, наш дворецкий, сказал, чтоб я вас позвала, угостила чашечкой кофе или шоколада на кухне.

– Хорош буду и на улице. Пойдем-ка пройдемся немного.

Они спускаются по улице до квадратного здания таможни, где за решетчатой оградой прохаживаются два валлонских гвардейца, взяв «на плечо» ружья с примкнутыми штыками. Мягко полощется флаг на мачте. Там внутри сидят сеньоры из Регентства, которое управляет всей Испанией – ну или тем, что от нее осталось. Король-то в плену сидит, во Франции, так вот они вместо него. За крепостной стеной, под ясным, без единого облачка, небом виднеется ослепительная синева бухты.

– Ну как тебе живется, дочка?

– Очень хорошо, отец. Правда-правда.

– Тебе нравится в этом доме?

– Очень нравится.

Солевар, проведя ладонью по обросшему бакенбардами лицу – подбородок уж дня три как нуждается в помощи цирюльника и его бритвы, – говорит с небольшой заминкой:

– А этот... дворецкий ваш... он, часом, не из этих самых... ну, ты меня понимаешь...

Дочь улыбается:

– Из них.

Здесь много таких, рассказывает она, служат в хороших домах. Люди они как на подбор – порядливые и чистоплотные, так что вроде как бы и обычай здесь в Кадисе такой. Росас – человек честный, рачительный, дом ведет, содержит как положено, всей прислугой командует. А она, Мари-Пас, со всеми ладит, и ее уважают.

– У тебя, может, уже и кавалер какой-нибудь объявился?

Мари-Пас, вспыхнув, бессознательно закрывает лицом краешком своей мантильи:

– Что вы такое говорите, отец? Какой еще кавалер?

Вдоль крепостной стены отец и дочь идут к площади Посос-де-ла-Ньеве и к Аламеде, с разных сторон обходя нацеленные на бухту пушки, если те не дают пройти рука об руку. Внизу о торчащие из воды скалы бьются волны, и над морем как-то особенно суматошно мечутся и галдят чайки. А в вышине целеустремленно и прямо, как по ниточке, пролетает через бухту на другой, материковый берег и тотчас пропадает из виду голубь.

– Хозяева-то не обижают тебя?

– Нет, ну что вы... Сеньорита – такая добрая. Серьезная. Не то чтоб она меня очень близко допускала, но относится... ну просто чудесно.

– Не замужем, я слышал.

– Да захоти она только, от женихов бы отбоя не было. Денег у нее... Как отец преставился, а брат погиб, ей одной все досталось – и дело, и корабли... Весь капитал. Она читать любит и с растениями возиться. Прямо страсть у нее к ним. Из Америки ей привозят всякие диковины, а она их изучает. У нее они и на картинках в книгах, и в гербариях засушены, и в горшках стоят.

Мохарра глубокомысленно покачивает головой. Узнав поближе капитана Вируэса и его рисунки, он уж ничему не удивляется.

– Отчего ж не изучать, раз у нее на все прислуга имеется.

– Не надо так говорить, отец. Старая хозяйка, вдова, матушка ее, она немного того... не в себе. С придурию. С постели не встает, вроде как бы хворает, только она вовсе не больная, а просто желает, чтобы все вокруг нее плясали, а пуще всех – дочка. В доме говорят, не может смириться, что любимого сыночка, Франсиско де Паулу, убили под Байленом, а донья Долорес жива и все дело ведет... Но та все сносит, все терпит. Дай Бог каждому такую дочь.

– А еще родня есть?

– Еще есть двоюродный брат Тоньо – уж до того шепутной, веселый... Очень мне нравится. Он человек неженатый, не с ними живет, а в своем доме, но каждый день приходит в гости... Еще у сеньориты младшая сестра есть. Вот она замужем. Но совсем другой породы человек – гордычка и страх какая чванная.

Теперь настает черед Фелипе Мохарре поведать дочке о своих делах. И он в подробностях рассказывает, что происходит на Исла-де-Леоне: кругом – французы, зона военных действий, мужчин мобилизовали, мирные жители – в нищете, оттого что война, можно сказать, у самого порога. Бомбы падают что ни день, а все припасы дочиста выгребают армия и Королевская армада, то бишь флот. Недостаток хвороста, вина и масла, а иной раз и хлеба не из чего испечь. По сравнению с Ислей у вас тут в Кадисе не жизнь, а праздник. По счастью, он-то, Фелипе, как волонтер-ополченец егерской роты, имеет возможность раза два-три в неделю добавлять к семейному рациону мясную порцию, ну и опять же, когда прилив, кое-какая рыба в каналах сама идет в руки, да и годных в пищу моллюсков можно промыслить. Во всяком случае, перебежчики уверяют, что в провинциях, занятых неприятелем, дела еще хуже. Там все под метелку выметено, а народ – да и французы тоже – чуть не голодает. Кое-где даже без вина сидят, и это притом что у них в руках и Херес, и Порто.

– И что же, многие переходят на нашу сторону?

– Да есть такие. Кто с голодухи, у кого с начальством нелады. Вплавь перебираются через каналы и выходят на наши аванпосты. Обычно – сопляки, малолетки, и заморенные до того, что без слез на них и не взглянешь. Ну так ведь и наши французу передаются. В первую голову те, у кого семьи под ним остались. Мы таких вот, когда попадают, стреляем, конечно. Для примера и в острастку другим. Да ты одного знаешь – Николас Санчес.

Мария-Пас, разинув рот и округлив глаза, смотрит на отца:

– Нико? С мельницы в Сан-Кристо?

– Он самый. У него жена с детьми остались в Чипионе, ну вот он и собрался к ним... На канале Сурраке его накрыли – ночью плыл в лодочке.

Девушка крестится:

– Господи помилуй... Это кажется мне очень жестоко...

– Лягушатники своих тоже стреляют, когда ловят.

– Это разные вещи, отец. В воскресенье у Святого Франциска падре проповедь читал, так он сказал, будто французы – слуги дьявола и потому Господу угодно, чтобы испанцы истребили их всех, как клопов.

Мохарра делает еще несколько шагов, уставясь себе под ноги. Потом мрачно поднимает голову:

– А вот я не знаю, чего Господу угодно.

Проходит еще немного вперед, останавливается понуро. Хоть на вид и взрослая барышня, а по сути – дитя дитем. Есть такое, чего объяснить нельзя. Уж по крайней мере, не здесь, на ходу. А по правде говоря, и нигде он объяснить не может.

– Они такие же люди, как мы, – произносит он наконец. – Как я... Ну те, кого я видел сам.

– А вы многих сами убили?

Опять молчание. Теперь он смотрит на нее. Сначала собирался было отнекиваться, но потом просто пожимает плечами. Что ж говорить, что не делал, если делал? Делал, слепо повинаясь тому, чего хочет или не хочет Бог, а уж о Его намерениях не ему, Фелипе Мохарре, судить. Его дело – исполнять свой долг перед отчизной и королем Фернандо Седьмым, которого – вот это уж он знает твердо – французы не любят. Однако же есть большие сомнения насчет того, что Сатане они служат верней и беззаветней иных известных ему испанцев. Они ведь тоже истекают кровью, кричат от страха и от боли, в точности как и он сам. Как и всякий иной.

- Кого-нибудь, наверно, убил.
- Девушка вновь осеняет себя крестным знамением:
- Ну, это ничего. Если француза, то это не грех.

* * *

Пепе Лобо отстранил пьянчугу, кланчившего пятак на вино. Отстранил без злобы и не грубо, терпеливо, желая всего лишь, чтобы попрошайка – оборванный и грязный матрос – освободил проход. И тот покачулся, споткнулся и исчез за круглым пятном желтоватого света, который бросал единственный фонарь на углу улицы Сарна.

- Неприятность... – сказал Рикардо Маранья.

Старший помощник «Кулебры» выступил из темноты, где стоял неподвижно, обозначая свое присутствие красным огоньком сигары. Высокий, бледный, с непокрытой головой, весь в черном, в сапогах с отворотами на британский манер. Глаза на худом лице глубоко запали – или это так кажется в свете фонаря?

- Серьезная?
- Зависит от тебя.

Теперь оба идут вниз по улице. Маранья слегка прихрамывает. В подворотнях и на входе в проулки – кучки мужчин и женщин. Обрывки слов по-испански и на других языках. Из окон и дверей таверны доносятся голоса, смех, брань. Иногда – гитарный перебор.

– Через полчаса явилась полиция, – объясняет Маранья. – Тут подрезали американского матросика, ищут, кто это сделал. Брасеро – один из подозреваемых.

- А это был он?
- Понятия не имею.
- А еще кого-нибудь задержали?
- Да человек шесть или семь. Их допрашивают прямо на месте. Но из наших больше никого.

Пепе Лобо с досадой крутит головой. Боцмана Брасеро он знает уже лет пятнадцать, а потому уверен, что, залив глаза, тот способен подколоть не то что американского матроса, а и родного отца. Однако дело-то в том, что без боцмана команда, которую они с таким трудом и старанием на вербовали в Кадисе, – и не команда вовсе. Лишиться его за полторы недели до выхода в море – беда непоправимая для всего дела.

- Они еще в таверне?
- Думаю, да. Я велел дать мне знать, если уведут оттуда.
- С офицером знаком?
- Шапочко. Лейтенант желторотый.

Пепе Лобо при слове «желторотый» не может сдержать улыбку: его старшему помощнику самому-то чуть за двадцать. Второй сын в весьма почтенной малагской семье, за изящные манеры и приятную наружность получивший прозвище Маркизик. Гардемарином участвовал в Трафальгарской битве, где получил осколок в колено, отчего и хромает, а в пятнадцать лет с военного флота должен был уйти, верней сказать – был списан за дуэль, в которой ранил одноклассника. И с тех пор плавает на корсарах, поначалу под французским и испанским флагами, а потом и с новоявленными союзниками-британцами. С капитаном Лобо в море выходит впервые, но знают они друг друга хорошо. Последнее место его службы – четырехпушечная шхуна «Корасон де Хесус», приписанная к порту Альхесираса. Два месяца назад истек срок ее корсарского патента.

Таверна – одно из многих значных мест в окрестностях порта; посетители соответствующие – испанские и иностранные моряки и солдаты, и обстановка им под стать: потолок, закопченный свечами и масляной лампой, висящей на крюке, большие бурдюки с вином, бочки,

заменяющие столы, и низкие табуреты, почерневшие от грязи, как и пол. Сейчас в ней нет ни завсегдатаев, ни гуляющих девиц – полдесятка волонтеров, примкнув штыки, сторожат семерых мужчин самого каторжного вида.

– Добрый вечер, – говорит Пепе Лобо лейтенанту.

Вслед за тем он представляется сам и представляет своего помощника. Такой-то и такой-то, с корсарского тартана «Кулебра». Тут, по всему судя, один из его людей. За что задержан?

– Подозревается в убийстве, – отвечает офицер.

– Если речь о нем, – капитан показывает на Брасеро, курчавого полуседого морячину лет пятидесяти, ручищи как лопаты, – то, уверяю вас, он тут ни при чем. Весь вечер был при мне. Я только что прислал его сюда с поручением... Наверняка это недоразумение.

Лейтенант хлопает глазами. В самом деле, как сказал Маранья, совсем молоденький. Птенчик. Робеет. Особенно перед капитаном корсара. Разумеется, будь на его месте армейский или тем более флотский офицер, разговор был бы другой. Но это местные ополченцы, «попугайчики», так себе вояки.

– Вы уверены, сеньор?

Пепе Лобо не сводит глаз со своего бoцмана, а тот безмолвно, неподвижно, невозмутимо сидит среди арестованных, сунув руки в карманы бушлата, уставившись на носки своих башмаков: слова «корсар» и «контрабандист» написаны у него на лбу, выдубленном солью и ветрами, глубоко, как ударами топора, прорезанном пересекающимися рубцами и морщинами. Золотые серьги в ушах. И веет от него такой же угрозой, как в те дни, когда вместе с Пепе Лобо гонялся за английскими «купцами» в Проливе, пока в восемьсот шестом не взяли обоих в плен да не свезли мыкать горе на Гибралтар. «Когда ж ты угомонишься, зараза?» – в сердцах думает капитан. Никаких сомнений – американец схлопотал именно от бoцмана: он на дух не переносит тех, кто лопочет по-английски. Любопытно, куда он успел запрятать свой здоровенный нож, который у него неизменно за поясом? Да уж можно не сомневаться, куда-нибудь да запрятал: под стол, наверно, сунул, в мокрые от вина опилки. Выбросил, сукин сын, успел, прежде чем повязали...

– Ручаюсь вам в этом своим честным словом.

Лейтенант еще полминуты колеблется – но скорее от начальственной важности, нежели по другой причине. «Попугайчиками» их прозвали здесь за пестрые мундиры – красные, с зеленым воротом и обшлагами, с белыми, перекрещенными на груди ремнями амуниции, – присвоенные тем двум тысячам состоятельных кадисских горожан, которые служат в Корпусе волонтеров. В городе жители воют согласно социальному положению: всех, конечно, объединяет патриотическое чувство, но – одних так, других эдак. Буржуа, ремесленники и простолюдины – каждое сословие формирует собственные ополченские отряды, и в волонтерах недостатка нет. Тех, кто запишется, освобождают от службы в регулярной армии и, стало быть, от опасностей и тягот, неизбежных на передовой. Чуть ли не весь свой боевой задор можно тратить на то, чтобы в кричаще ярких мундирах, с видом воинственным и мужественным флиновать по улицам и площадям да сидеть в кофейнях.

– Я так понял, сеньор, вы забираете его под свою ответственность?

– Именно так.

Пепе Лобо выходит на улицу в сопровождении своих людей, и все трое направляются к стенам Санта-Марии, к Бокете и Пуэрта-де-Мар. Довольно долго они идут молча. Улицы темны, бoцман зыбкой тенью влачится за капитаном и помощником. На палубе корабля нет на свете человека спокойнее и надежнее и к тому же наделенного природным даром держать команду в руках в самых трудных положениях. А вот на берегу случается иной раз, что ни с того ни с сего рулевые шпонки выбивает и тогда он просто дуреет.

– Чтоб ты пропал, бoцман! – произносит наконец Лобо, не оборачиваясь.

За спиной – молчание, пристыженное и покаянное.

Слышно лишь, как давится еле сдерживаемым смехом помощник. Кончается это приступом мучительного кашля, после которого Маранья еще несколько минут дышит часто, прерывисто и со свистом. Проходя под фонарем, капитан искоса оглядывает тонкую фигуру помощника, который с безразличным видом достает из рукава платок, прижимает его к бескровным тонким губам. Старший помощник – из тех, кто жжет свою свечу с обоих концов: мрачен до жестокости, отважен до безрассудства, неумерен в пороках и страстях до полной утраты благоразумия и приличий и торопится раньше срока свести счеты с жизнью, которую с недавних пор гонит вскачь наперегонки со временем, будто не по годам хладнокровно спешит исчерпать отпущенный ему кредит и не заботится о будущем, ибо неумолимый приговор врачей – скоротечная чахотка в последней стадии – будущего ему не оставляет.

У двойных ворот Пуэрта-де-Мар, в этот час уже закрытых, их окликают, приказывая остановиться, часовые. От восхода солнца до темноты на вход и на выход действуют строгие правила – Пуэрта-де-Тьерра закрываются после вечерней мессы, а Пуэрта-де-Мар после «анимас»²⁰, однако официальная бумага или несколько монет, скользнувшие в ладонь караульному, облегчают проход. Удостоверив свою принадлежность к экипажу «Кулебры» и предъявив пропуска с печатью Капитании – военного правительства, трое моряков проходят под толстой стеной из камня и кирпича, здесь и там утыканной караульными будками и освещенной с каждой стороны фонарями. Слева, под торчащими из бойниц стволами орудий на бастионе Лос-Негрос, тянется широкий штырь мола с двумя колоннами, увенчанными статуями святого Серванда и святого Германа, небесных покровителей Кадиса. Подальше, в темной воде, плещущей у самой стены, под легчайшим бризом мягко покачиваются на якорях, сбившись в кучу, как овцы от волков, бесчисленные корабли всех видов, типов, водоизмещений и портов приписки – стояночные огни не горят, чтобы не вводить в соблазн французских артиллеристов, батареи которых, отделенные неширокой полосой бухты, стоят на другом берегу, в Трокадеро.

– Боцман, чтоб через четверть часа был на борту. И не смей больше сходить на берег без разрешения моего или помощника. Понял?

Тот что-то бурчит в смысле утвердительном. Соблюдает дисциплину. Пепе Лобо, подойдя к трем-четырем неподвижным фигурам на молу, будит лодочника. Покуда тот отвязывает ялик и вставляет весла в уключины, появляются несколько английских военных моряков, только что завершивших обход окрестных припортовых вертепов. Видно, что налиты вином, что называется, под завязку. Трое корсаров молча наблюдают, как британцы валяются в свою шлюпку и, неуклюже ворочая веслами, с песнями и хохотом гребут к 44-пушечному фрегату, стоящему на рейде перед Корралесом.

– Союзнички хреновы... – цедит Брасеро с чувством.

Лобо улыбается про себя. Он, как и боцман, не забыл им Гибралтар.

– Ты бы помолчал, а... Хватит на сегодня.

Лобо и Маранья остаются на молу, глядя, как под мерные всплески весел исчезает во тьме смутное пятно ялика, увозящего Брасеро. Где-то там, в этой тьме, к востоку от мола, бросив якорь на четырех морских саженях глубины, стоит «Кулебра» с пока еще не полностью оснащенной единственной мачтой. Чтобы корабль был готов и годен для боя и похода, не хватает также двух комендоров, писаря-переводчика, восьми матросов и надежного плотника – тогда налицо будут все сорок восемь человек экипажа.

– Флотские подкинут нам пороху, – говорит Пепе Лобо. – Полтора ста фунтов, двадцать две ручные гранаты и одиннадцать с половиной фунтов фитилей... Один Бог знает, чего стоило выцарапать все это у Армады, особенно сейчас, когда все уходит на экспедицию в Тарифу, но, однако же, удалось. Сегодня утром губернатор подписал.

– И кремни тоже – шестьдесят ружейных и сорок пистолетных?

²⁰ Вечерний колокольный звон, призывавший молиться за души (ánimas) грешников в чистилище.

– Дали и кремни. Когда баркас ошвартуется, займись выгрузкой. Но без меня к нам ничего на борт не поднимать. А мне надо будет повидаться с арматорами.

На другом берегу бухты – вспышка. Моряки замирают на месте и в ожидании смотрят в сторону Трокадеро. Пепе Лобо про себя отсчитывает секунды. На десятой долетает отдаленный грохот. На семнадцатой вблизи от пирса, меж черными силуэтами кораблей встает светлый во тьме столб пены.

– Сегодня поближе положили, – хладнокровно замечает Маранья.

Оба идут назад, к Пуэрта-де-Мар, где в пятне света от уличного фонаря стоит у своей будки, смотрит на них часовой. Маранья задерживается, бросает взгляд на узкий мол, идущий под крепостной стеной в сторону Круса и Пуэрта-де-Севилья.

– А как с бумагами будет? – спрашивает он.

– Как положено. Арматоры внесли залог, и в понедельник официально подпишем контракт.

Помощник слушает его рассеянно. При скудном свете далекого фонаря Пепе Лобо видит, как Маранья снова и снова взглядывает на оконечность мола у Пуэрто-Пиохо, где несколько ступеней ведут на расширенный отливом песчаный берег под скрытыми во тьме угловатыми уступами бастионов.

– Провожу тебя немного.

Маранья смотрит на него серьезно. С подозрением. Потом губы его раздвигаются, но от неверного света, не способного разогнать тьму, улыбка больше похожа на угрюмую гримасу.

– Так сколько же в итоге у нас судовладельцев? – спрашивает он.

Они идут следом за своими длинными тенями, и звук шагов сливается с плеском воды о камень мола: восточный ветер посвежел и гонит волну.

– Двое, как я тебе говорил, – отвечает Лобо. – Очень обеспеченные и без долгов. Дон Эмилио Санчес Гинеа и сеньора Лолита Пальма. Или сеньорита.

– И какова она?

– Да не больно что-то приветлива... Дон Эмилио сказал мне, что никак не могла решиться. Убеждена, что от нас, корсаров, лучше держаться подальше: мы люди сомнительные.

Слышен отрывистый, влажный смешок. И сразу же – короткий хрип задушенного платком кашля.

– Целиком и полностью согласен с нею, – говорит Маранья спустя мгновение.

– Полагаю, респектабельная негоциантка именно так и должна рассуждать. Да в конце концов, она – хозяйка.

– Хорошенькая дамочка?

– Она не замужем... Да, недурна. Пока еще.

Дошли до ступеней, ведущих на песчаный берег. Лобо угадывает внизу в темноте силуэт лодки под парусом. В ней двое. Контрабандисты, разумеется. Везут на тот берег, к французам, всякую всячину, которую там от всеобщей нехватки сбудут вчетверо дороже.

– Ну, доброй ночи, капитан.

– Доброй ночи, помощник.

После того как Маранья сошел по ступеням и пропал в черноте, слившей воедино крепостную стену, берег и море, Пепе Лобо постоял немного, прислушиваясь к тому, как зашумел парус под ветром, закрипела пенка – лодка отвалила от мола. В Кадисе поговаривают, будто в Эль-Пуэрто-де-Санта-Марии, в зоне, оккупированной французами, у Мараньи есть не то невеста, не то подружка. И будто бы по ночам, когда ветер благоприятен, он при посредстве контрабандистов тайком плавает к ней. Ставя на кон свободу и саму жизнь.

4

Со стороны Чикланы горит сосновый лес. Буровато-серое облако дыма, висящее между небом и землей, прорезают время от времени вспышки оружейных выстрелов, а где-то в отдалении и поэтому приглушенно слышится ружейная трескотня. Дорога, ведущая от береговой полосы к Чиклане и Пуэрто-Реалю, заполнена отступающими, а вернее, беспорядочно откатывающимися французами: солдаты, обоз, раненые на подводах. Это называется – повальное бегство. Царит полнейшая сумятица, сведений нет, а какие есть – противоречат друг другу и вносят еще большую неразбериху. По слухам, на холме Пуэрко идет жестокий бой; дивизии Леваля и Рюффена держатся из последних сил, а может быть, к этому часу уже разбиты, а соединенные англо-испанские войска, высадившись в Тарифе, наступают на Санкти-Петри и Кадис, намереваясь прорвать блокаду. Еще говорят, что Вехер и Касас-Вьехас уже в руках неприятеля и под угрозой – Медина-Сидония. А это значит, что весь левый, южный фланг французского фронта вокруг Исла-де-Леона может быть в считанные часы смят. И, опасаясь, что их прижмут к берегу и перережут им путь вглубь материка, императорские войска, находящиеся между морем и мысом Алькорнокаль, поспешно отступают на север.

Симон Дефоссё идет в веренице людей, лошадей, повозок – густой и такой длинной, что хвост ее скрывается из виду. Шляпу где-то потерял, мундир снял и перебросил через руку, в которой держит обмотанную португесей саблю в ножнах. Как и сотни других растерянных людей, капитан шлепал по пояс в воде, блуждал в лабиринте каналов, окружающих островок у мельницы Альманса. Штаны и мундир выпачканы илом и тиной, в сапогах при каждом шаге хлупает болотная жижа. Дорога узка, слева – низкие, заливаемые приливом плавни, справа – крутой склон холма, поросшего кустарником и мастиковыми деревьями, что возвещает близость соснового леса. А оттуда уже прогремело несколько выстрелов, и французы с беспокойством посматривают в ту сторону, с минуты на минуту ожидая появления врага. От одной мысли, что они попадут в руки мстительных испанцев, становится тревожно. А если представить, что это будут известные своей лютостью партизаны-*геррильеры*, – по-настоящему страшно.

Дефоссё с самого начала не повезло. Наступление неприятеля застало его на рассвете, в пяти лигах от расположения – в лагере у Торре-Бермаха, где он и шесть конвойных драгунов заночевали у командующего артиллерией Первого корпуса. Генерал Лезюер, недовольный тем, какие плачевные результаты дает обстрел испанского форта, находящегося в устье канала Санкти-Петри, вызвал Дефоссё к себе. Разбираться, в чем дело. А верней – свалить вину на капитана. В последнюю неделю отмечалось заметное оживление по всей линии, но, несмотря на это, и на высадку в Тарифе, и на предпринятую двое суток назад попытку испанцев навести плавучий мост в нижней части одного из каналов, Лезюер предпочел не трогаться с места. Все спокойно, говорил он за ужином, немного, быть может, переусердствовав с мансанилей. Дунули от моста, как мыши от кота. А легкая стычка поднимает боевой дух войска. Какого вы мнения, господа? Эти голодранцы-мятежники получили от наших трех линейных полков достойный отпор и удрали. Наши показали себя настоящими молодцами. Да. Отличные солдаты у генерала Вийятта. Так что, уверяю вас, опасаться нечего. Будьте добры, Дефоссё. Если вам не трудно, налейте мне еще. Благодарю. Завтра мы продолжим. Сейчас все свободны. Отдыхайте, господа.

Отдых вышел коротким. На рассвете все изменилось молниеносно: испанский авангард ударил в тыл французам, пройдя с вершины Пуэрко до Торре-Бермеха по Конильской дороге и по берегу, открывшемуся из-за отлива, меж тем как другие части все же сумели навести переправу и форсировали канал. К полудню оказавшиеся меж двух огней четыре тысячи французов из дивизии Вийятта в полном беспорядке начали отступать к Чиклане, а генерал Лезюер

дал коню шпоры и умчался галопом вместе с полудюжиной своих драгун; капитан же, который обнаружил, прибежав за своей лошадей, что какой-то негодяй украл ее, остался с толпой бегущих стирать, как говорится, землю подметками.

Поблизости, чуть ли не с этого холма, что поверху переходит в сосновый лес, гремит несколько ружейных выстрелов. А следом звучат крики: мол, испанцы обошли, отрезали, – и поток бегущих несется стремительней, захлестывая и таща с собой замешкавшихся или неловких. Вот сбросили на обочину подводу со сломанным колесом, и те, кто сидел в ней, выпрягли мулов, сели верхом и ускакали, нещадно хлеща их и расталкивая пеших. Паника нарастает с каждой секундой; Симон Дефоссё вместе с другими ускоряет шаги. Поглядывает, как и все, на склон горы, угрозой нависающий справа. Ни малейшей охоты поближе познакомиться с бешеными испанскими наваха. Или с дисциплинированными английскими штыками.

Из зарослей снова гремят выстрелы, свистят над головами несколько пуль. Многоголосый крик. Кое-кто выбегает из рядов, припав к земле или став на одно колено, наводит ружье на близкий склон.

– Геррильеры, геррильеры!

Но другие кричат, что ничего подобного, это британцы. Что дорога впереди перерезана, что деревянный мостик через канал разрушен. И от этого многие, кажется, совсем теряют рассудок. Толкотня и сутолока на узкой дороге. Кто может – пускается бегом. Опять выстрелы, но стрелявших не видно, и никто не ранен.

– Шевелись, шевелись! Они хотят перерезать путь на Чиклану!

Иные ломятся напрямик, без дороги, через заросли кустарника, но болотистые ответвления каналов, топкие, глинистые берега препятствуют им. Лейтенант 94-го линейного полка – судя по медной ленточке над козырьком кивера – пытается собрать людей, чтобы огнем по холму защитить фланг бегущих, однако ничего из этого не выходит. Кое-кто даже грозит ему ружьем, когда он хватается солдат за рукава, чтобы остановить и повести за собой. Отчаявшись, лейтенант оставляет старания, вливается в поток и дает ему увлечь себя.

– В сосняке – люди! – кричит кто-то.

Взглянув туда, Дефоссё покрывается гусиной кожей. Со стороны холма, на границе с дымящимся позади сосняком, появляется десяток всадников. Ужас, как судорога, проходит по расстроенным рядам колонны – это может быть передовой разъезд неприятельской кавалерии. Щелкает несколько одиночных выстрелов, а капитан в тоске представляет себя под испанскими клинками. Мало-помалу огонь стихает – узнали в этих всадниках конных егерей из дивизии Дессаня, сопровождающих артиллерийский обоз, который отступает с позиций на Санта-Ане.

Если это и не поражение, думает капитан, то нечто очень на него похожее. Может быть, чересчур круто звучит применительно к императорской армии, но ведь уж не в первый раз. Еще жива память о Байлене и о менее значительных эпизодах войны в Испании. Франция оказалась не столь уж непобедима. Так или иначе капитан Дефоссё впервые заглянул в черные пропасти военной славы, а там – вышедшие из повиновения люди, общая паника, и все, что вчера еще было спаяно дисциплиной и нерушимым порядком, еле-еле удерживается от вопля: «Спасайся кто может!» Вместе с тем, несмотря на полнейшую неразбериху и сумятицу, царящие вокруг, на это поспешное, хаотическое отступление, когда всеми владеет лишь желание невредимыми добраться до Чикланы, капитан отмечает у себя нечто вроде раздвоения личности: будто еще один Симон Дефоссё способен взирать на все происходящее с его двойником бесстрастным взором ученого. Естествоиспытатель по духу своему, он заморожен новым, весьма поучительным зрелищем того, как человек при первом близком топоте несчастья или смерти, отринув себя самого, ломает социальную иерархию, военную субординацию, сулящие ему защиту. Однако и природный инстинкт, позволяющий капитану по-особенному взирать на мир, не покидает его в этих обстоятельствах. Даром, что ли, ты гений и светоч, сказал бы Бертольди, случись он здесь, – но, на свое счастье, лейтенант любит этим батальным полотном в

безопасном далеке, из Трокадеро. Навык. Вот гремит вблизи очередной выстрел, и скученные люди начинают метаться, давя друг друга в поисках спасения, а капитан машинально прикидывает степени вероятности, возможности, случайности, прямые и кривые траектории выстрела, унции свинца, выброшенного из ствола энергией, находящейся на своем пределе. Обдумывать новые идеи. Переводить задачи в неожиданный ракурс. И потому он может смело утверждать, что по дороге на Чиклану идут двое Дефоссё. Один – как и все окружающее его человечье стадо – преображен страхом, бежит, трудно дышит. Второй – невозмутим и бестрепетен, тщательно всматривается в знаки, приметы и черты чарующего мира, управляемого сложными, универсальными законами.

– Они сзади! – доносится крик.

Снова вспышка паники. Опять толчея. Разносится слух, будто генерал Рюффен убит или взят в плен. Дефоссё чувствует, что не в силах больше сносить эти слухи и череду ложных тревог. «О господи!» – говорит он, замедляя шаг и борясь с желанием свернуть с дороги и сесть где-нибудь на обочине. И единственное, что умеряет и скрашивает горечь подобного отступления, – это жестокое осознание своей нелепости и полной утраты собственного достоинства. Профессора физики из артиллерийской школы в Меце, без мундира, без шляпы, несет, как щепку, многосотенный поток людей, перепуганных не меньше его.

– Не отставайте, мой капитан, – советует усатый капрал, который идет рядом.

– Оставь меня в покое...

Вот какое-то строение впереди. Жилой домик, притулившийся рядом с водяной мельницей, чьи каменные жернова приводятся в движение приливами и отливами. Приблизившись, капитан понимает: его только что разграбили. Дверь разнесена в щепы, пол покрыт обломками утвари и мебели, битой посудой, какими-то пожитками, которые не смогли унести или бросили за ненадобностью. Подойдя вплотную, он видит четыре распростертых тела, а рядом – привязанного пса, который неистово лает на проходящих по дороге солдат.

– Геррильеры. Это их работа, – безразлично замечает капрал.

Дефоссё кажется иначе. Трое мужчин и женщина, – вероятней всего, семейство мельника. Недавно подсохшая кровь на колотых штыковых ранах запеклась сгустками, пропитала песчаную почву. Нет сомнения – это отступающие французы сорвали на местных жителях горькую злобу потерпевших поражение. Еще одно зверство, думает капитан, отводя глаза. Одно из многих. Очередное. И не последнее.

Пес продолжает истошно и надрывно лаять на солдат, идущих мимо. Яростно рвется с цепи, которой привязан к стене. Почти не останавливаясь, на ходу, капрал в двух шагах от Дефоссё сдергивает с плеча ружье, вскидывает и с первого выстрела укладывает собаку.

* * *

По мере того как Грегорио Фумагаль маленькой кистью медленно и равномерно наносит краску, купленную в лавке Фраскито Санлукара, на волосы и бакенбарды, они обретают темно-каштановый, слегка отдающий в рыжину цвет, скрывающий седые нити. Завершив, высушивает и смотрит в зеркало на дело рук своих. И остается доволен. Потом выходит на террасу, созерцает бесконечную, протянувшуюся, насколько глаз хватает, панораму города и бухты; какое-то время стоит неподвижно на солнце, прислушиваясь к канонаде, которая все еще гремит на оконечности перешейка, между Санкти-Петри и возвышенностями Чикланы. В булочной на улице Эмпедрадорес говорили, что вчера генералы Лапенья и Грэм в кровопролитном сражении за несколько часов прорвали французскую линию обороны между холмом Пуэрко и побережьем в районе Баррозы, однако из-за скверно согласованных действий обоих военачальников, их взаимной ревности и общей бестолковости все вернулось на круги своя. Прорыв ликвидирован; идет нескончаемая артиллерийская дуэль, не затрагивающая Кадиса.

Когда краска высохла, чучельник спустился и вновь посмотрел на себя в зеркало. Ему свойственна совершенно особенная кокетливость, не имеющая никакого отношения к успеху в обществе или к светской жизни, тем паче что ни того ни другого нет и в помине. На самом деле все рождается и умирает внутри его самого, растворяется в повседневности его устоявшегося бытия, неотъемлемую часть которого составляют и голубиная почта, и животные, сперва выпотрошенные, а потом терпеливо и искусно воссозданные. И в его случае подкрашивание волос да и все прочие заботы о собственной внешности не преследуют – не в пример щеголям и фатам – цель выглядеть молодым и цветущим. Нет, это скорее вопрос соблюдения нормы. Полезной самодисциплины. То исключительное и трепетное внимание, с каким чучельник относится к себе, требует неукоснительно и ежеутреннего бритья, и выхоленных ногтей, и особой опрятности белья и одежды, которые он отдает стирать прачке с улицы Кампильо, а гладит собственноручно. Иначе и быть не может, иного представить себе нельзя. Для такого, как он, для человека, лишённого и семьи, и друзей, свободного от нелюбимого суда чужих взглядов, зорко подмечающих достоинства и слабости, подобное следование норме давно уж сделалось способом выживания. Если отсутствует вера, если нет собственного знамени – ибо то, трехцветное, что развевается на дальнем берегу бухты, осеняет всего лишь его временных, по воле обстоятельств, союзников, – незыблемость раз и навсегда заведенного порядка, нерушимость установившихся привычек, неумолимость собственных законов, не имеющих ничего общего с бесполезно-продажным людским правосудием, призваны стать тем редутом, куда отступит и где закрепится Фумагаль, чтобы выстоять в окружении врагов: отдыха и покоя не жди, перспективы скудны и туманны, единственная же отрада – с помощью соломы, штопальной иглы и глаз, сделанных из засохшего теста и стекла, воссоздавать Природу.

Его ищут, и никого другого, – затем, что этой ночью он свершил неслыханное. Ничего еще не ясно, мы в сомненье, и добровольно взялся я за розыск. Сейчас же по следам я бросился. И вот то убеждаюсь, что след – его, то сам не знаю – так ли.

Эти строчки буквально заворожили Рохелио Тисона. Можно подумать, что двадцать с чем-то веков назад Софокл сочинил их, думая именно о нем. О том, на что сейчас устремлены все комиссаровы помыслы. Полицейский осторожно перелистывает рукопись, покрытую крупным, разборчивым, едва ли не писарским почерком профессора Барруля. И очередной крестик на полях заставляет его взглянуться и перечесть:

...И, не пил и не ел, лежит безмолвный посреди животных, которых сам мечом своим сразил... И ясно по словам его и воплям: недоброе замыслил он.

Тисон откладывает рукопись. Описание убитых животных вполне подходит к картине, врезавшейся ему в память, – девушки, истерзанные бичом так, что обнажились кости. Со времени последнего убийства прошло уже немало, но ни о чем другом он не может думать. Старый его знакомец, флотский хирург, которому он доверяет больше, чем людям, что обычно сотрудничают с полицией, подтвердил его подозрения: бич был не простой, не обычный, из воловьих жил или кожаный, а нечто особенное, из плетеной проволоки. Произведение дьявольского искусства. Орудие, предназначенное для того, чтобы творить зло. Чтобы засекать до смерти, при каждом ударе вырывая из тела жертвы куски мяса. А это значит, что преступления, совершенные этим орудием, готовились тщательно и загодя и убийца, кто бы он ни был, действовал не во внезапном помрачении рассудка. Он сознательно выходил на поиски жертв. Он готовился, он наслаждался этими приготовлениями. Он был во всеоружии – именно для того, чтобы причинять, убивая, возможно большие страдания.

Слишком мудро, сказал себе Тисон. По крайней мере, с тем материалом, которым он располагает сейчас. Все равно что искать иголку в стоге сена: из-за войны и французской осады население Кадиса увеличилось вдвое и превышает сто тысяч человек. И поймать убийцу не

поможет обширная, кропотливо сотканная за много лет сеть его тайных агентов. Среди них не только нищие и проститутки: затесался даже один священник из Сан-Антонио, пользующийся большой популярностью как исповедник и согласившийся стать осведомителем при условии, что Тисон закроет глаза на своеобразное, прямо скажем, понимание апостольского служения заблудшим дамским душам. Одни агенты работали за деньги, другие – чтобы не сидеть в каталажке, третьи – за кое-какие привилегии; но находились и такие, что горели желанием свести счеты с ближними, с полицией, с миром, который ненавидели или страстно мечтали покорить. В свои годы и в своей должности Рохелио Тисон знает – или, по крайней мере, думает, что знает, – все о темных закоулках души человеческой, о неисповедимых путях, которыми движется его сознание, знает то место, куда надо попасть, чтобы человек сломался, покорился, стал сотрудничать или сгинул навсегда, знает немыслимое могущество низости, на которую любой и каждый согласится, если отыщет определенные возможности – или если ему таковые возможности предоставить.

Комиссар поднимается и начинает мрачно прохаживаться по гостиной, рассеянно оглядывая ровный строй корешков на полке. Он знает – там содержатся ответы, но не на все вопросы. Нет их и в листках, исписанных уже немного выцветшими чернилами, с карандашными значками, отмечающими на полях места, которые скорее будоражат воображение, нежели проливают какой-то свет. Вопросы ведут к новым вопросам, а те повергают в растерянность от ощущения собственного бессилия. И откуда это последнее слово еще звучит у него в ушах, Тисон проводит пальцами по крышке рояля: так давно уже она опущена, так давно уже в доме не звучит музыка. То, что он может узнать, те вопросы и ответы, что помогли бы избавиться от этого гнетущего ощущения, без сомнения, пригодятся в работе полицейского комиссара, но этого, к сожалению, недостаточно для нынешнего Кадиса, наводненного войсками и беженцами. По существующим правилам, всякий новоприбывший должен представить сведения о себе в соответствующее ведомство, где ему по итогам проверки выдадут или нет вид на жительство. Для тех, кто не располагает должными средствами – а оформление по всем правилам далеко не всякому по карману, а искусный писец-каллиграф, который может с гарантией выправить подложное свидетельство, меньше чем за полтора ста дуро и мараться не станет – трудности предстоят неимоверные. И потому постоянный приток людей, желающих легализации, бесперебойно обеспечивает заказами предприятие, где на паях работают капитаны кораблей, чиновники, военные и контрабандисты. И сам комиссар Тисон по должностным своим обязанностям не чужд ему. Официальный тариф на то, чтобы сделать изъятие из закона, нарушенного при въезде в Кадис, взлетел до тысячи реалов для супружеской четы с детьми, а если их сопровождает служанка – накинь еще сотни две. Комиссар же решает вопрос когда за четверть этой суммы, когда за половину, а когда и за всю целиком – это если нужно смягчить или оставить без внимания декрет Регентства о депортации такого-то лица. Дело, в конце концов, есть дело. А жизнь есть жизнь.

Комиссар, подойдя к двери, ведущей в другие комнаты, чутко прислушивается. В доме царит мертвая тишина, однако он знает, что жена – здесь, там же, где всегда, и губы ее, по обыкновению, плотно сжаты, а глаза потуплены или же устремлены – через балконные жалюзи – на улицу. Она неподвижна, бесстрастна, как сфинкс, безмолвна, как упрек на устах призрака. И четки, в прежние времена неразлучные с ее пальцами, теперь лежат забытыми в корзинке для шитья. И перед образом Иисуса, что висит в хрустальном окладе, не горит лампадка. Уже давно в этом доме никто не молится.

Комиссар стоит у окна, открытого на Аламеду и широкую панораму бухты. Вдали, милях в двух от Кадиса, перед Пуэрто-де-Санта-Марией два британских фрегата в сопровождении испанских канонерок ведут методичный обстрел неприятельского форта на Санта-Каталине. Невооруженным глазом можно увидеть, как ветер растаскивает по небу облака дыма, как при выполнении маневров пересекаются друг с другом белые пирамидки парусов. Паруса белеют

и перед Ротой. Тисон прислушивается и вскоре улавливает приглушенный расстоянием гром корабельных орудий и ответный – французских батарей береговой обороны. Из окна не видна юго-восточная, материковая сторона Кадиса. И Тисон знает не более того, что известно всему городу: несколько дней назад на холме Пуэрко произошло кровопролитное сражение. Говорят, продолжаются бои по всему фронту и испанские герриллеры, высадившись в нескольких пунктах, выбили врага с позиций. Нынче утром на обратном пути из Королевской тюрьмы, куда он препровождал нескольких заключенных, Тисон мог своими глазами видеть с бастиона Мучеников, что выше перешейка и Исла-де-Леона, как продолжают гореть сосновые леса Чикланы.

Тем не менее это не его битва. Или же он не ощущает ее своей. Тисон никогда не питал иллюзий на собственный счет. Он знает: как бы ни сложились обстоятельства, ремесло с полнейшей естественностью приведет его на службу сидящему в Мадриде королю-захватчику. Точно так же, как это случилось с его коллегами, оказавшимися в оккупированных провинциях. Не по идеологическим причинам, но простою силою вещей. Он – государственный служащий, и его единственная идеология неизменно будет совпадать с той, что установлена нынешней властью. Полицейский всегда остается полицейским; всякому режиму требуются его услуги, его опыт. Без них никакая система долго не протянет. Стало быть, каковы бы ни были идеи и знамена, методы остаются прежними. Кроме того, Тисон любит свое дело. Это его призвание. Он знает, что в должной пропорции одарен от природы теми свойствами, каких требует это занятие, а именно – отсутствием излишней щепетильности и отчужденной мастеровитостью наемника. Он родился полицейским и прошел все ступени служебной лестницы, поднявшись от простого сбира до комиссара, распоряжающегося человеческой жизнью, имуществом и свободой. Этот подъем дался ему нелегко. И обошелся недешево. Но Тисон доволен. Его поле деятельности или, если угодно, битвы – этот древний, лукавый, двоясмысленный город, переполненный людьми. А они – его рабочий материал. Его лаборатория. Испытательный полигон. Опытная деланка. Источник его власти.

Он отходит от окна, снова приближается к столу. Мысль, что он мечется, как зверь в клетке, и нет ему покоя, ему не нравится. И ему это несвойственно. Какая-то ярость – стойкая, точно направленная, тонкая, как стилет, – в последнее время дырявит его намерения. Рукопись профессора Барруля, будто издеваясь, по-прежнему лежит на столе. *То убеждаюсь, что след – его, то сам не знаю – так ли*, снова читает комиссар. Какая-то заноза засела в самом уязвимом месте – в самолюбии Тисона. В душевном равновесии, без которого не бывает настоящего профессионала. Три девушки одного примерно возраста. Убиты в течение полугода одним и тем же способом. К счастью, как несколько недель назад заметил губернатор Вильявисенсио, война и осада отгесняют эти злодеяния на второй или даже на третий план. И оттого не убывает горечь, снедающая душу Тисона, не смягчается крошечный стыд, грызущий ему нутро всякий раз, как комиссар вспоминает о преступлениях. И всякий раз при взгляде на онемевший рояль он думает, что убитым девушкам – примерно столько лет, сколько было бы сегодня той, которая когда-то заставляла звучать его клавиши.

Он чувствует, как пульсирует в висках глухая злоба. Бессилие – вот оно, точное слово. Неведомая прежде ненависть точит его изнутри изо дня в день и мешает бесстрастно, невозмутимо исполнять свои обязанности. Этот человек, замучивший насмерть трех несчастных, *безмолвный посреди животных, которых сам мечом своим сразил*, – где-то поблизости, во многолюдстве – безликом или наделенном тысячей лиц. Каждый раз, как комиссар выходит на улицу, он озирается, оглядывает ее из конца в конец, взглядом наудачу выхватывает из толпы и провожает то этого прохожего, то того и неизменно убеждается, что убийцей может быть любой из них. Он побывал всюду, где упали французские бомбы, осмотрел там каждый дюйм, расспросил соседей и возможных очевидцев – и все это лишь затем, чтобы смутное ощущение, неосознанное подозрение, не дающее ему покоя, обрело четкость очертаний, навело на примету, признак, улику, перелилось во что-то такое, что помогло бы связать воедино его наитие

с поступками конкретных людей. На лицах которых проступит печать преступления – пусть даже долгий опыт внушает ему, что по внешним приметам злодея не отличить от всех прочих, – а зверство, свершенное в отношении этих девушек либо проявленное как-либо еще, обнаружится в повадке и чертах первого встречного. Да, разумеется, нельзя сказать, что мир состоит из невинных, – скорее наоборот: его населяют люди, каждый из которых способен на самое плохое. И главнейшая задача толкового полицейского – определить точную степень злодейства, совершенного его ближними, или долю их причастности к тому злу, что уже или еще может быть содеяно. В этом – и ни в чем ином – состоит правосудие. Правосудие, как понимает его Рохелио Тисон. Возложить на каждую человеческую особь ее долю вины и, если возможно, взыскать за нее. Взыскать беспощадно.

* * *

– Уходим! Назад... Медленно! Поднимайся, уходим!

При звуках этого голоса Фелипе Мохарра, который уже перезарядил ружье и вставляет шомпол на место, в гнезда вдоль ствола, озирается по сторонам. Да, соглашается он, самое время. Солевары-ополченцы и морская пехота, действующие вокруг мельницы Монтекорто, начинают отходить, пригибаясь, останавливаясь на миг, чтобы прицелиться и выстрелить туда, где вдоль линии недалних французских позиций вспухают над стволами мушкетов султанчики дыма.

– Отступаем к лодкам! Не бежать! Без суеты!

С глухим *пак* взметнула струйку песка отскачившая рикошетом пуля. Мохарра не останавливается взглянуть, откуда она прилетела, но прикидывает, что до передовых французов, должно быть, не больше полусотни шагов. Чтобы немного охладить пыл лягушатников, он встает, прикладывает, спускает курок. Потом достает патрон из сумки, скусывает провошенную бумагу, сыпает порох, сплевывает пулю, прибавляет заряд шомполом – и все это на ходу, отступая и шлепая по илу, откуда меж пальцами его босых ног проступает вода. *Ззык* – еще одна пуля пролетает над головой. Солнце уже высоко, и крохотными брильянтами искрится, похрустывает кристалликами соли белесая корка на оставшихся после отлива лужах, на берегах каналов и ручьев. В глинистой воде одного из них по-прежнему лежат двое убитых французов, которых он увидел с первым светом зари, сразу как высадились. Когда ему приказали, Мохарра с товарищами давеча прошли здесь поблизости, залегли вокруг недавно взятых французских позиций, чтобы отбивать попытки контратаки и дать саперам время разнести сложенные из сухого ила брустверы, заклепать орудия и все предать огню.

Сегодняшняя рукопашная для Фелипе Мохарры уже третья с тех пор, как у Чикланы началось сражение. Насколько ему известно, после того как французы вернули свои позиции, испанцы и англичане начали череду непрерывных атак по всему фронту. То есть снова и снова стали переправляться через каналы и высаживаться по берегу от Санкти-Петри до Трокадеро и Роты, взятой три дня назад испанскими войсками, которые, прежде чем без потерь вернуться на свои корабли, утопили неприятельские пушки, снесли укрепления и вернули город под власть Фердинанда Седьмого. Впрочем, доходили слухи, что бой за Пуэрко складывался не столь уж благоприятно, как об этом рассказывают, хотя англичане дрались, по своему обыкновению, упорно и стойко, а генерал Грэм, уязвленный тем, как вел себя во время этого дела генерал Лапенья, обиделся на испанцев и отказался принять титул графа, герцога или маркиза – Мохарра слабо разбирается в этом – дель Пуэрко, который кортесы собирались было даровать ему: причем одни говорят, будто дело именно в том, что англичанин поцапался с Лапеньей, а другие – что ему перевели это самое «пуэрко»²¹ на родной язык. Так или иначе, трения

²¹ Пуэрко (*исп.*) – свинья.

меж союзниками возникают часто: испанцы упрекают англичан в непомерной спеси, а те их – в отсутствии дисциплины, причем те и другие до известной степени правы. Неделю назад Фелипе Мохарра убедился в этом на собственной шкуре. Во время одного из рейдов, начавшегося в девять утра с атаки на французскую батарею в Кото, полурота британских морских пехотинцев с восемью солдарами-проводниками, высадившись на сушу, почти три часа дрались в одиночку, поскольку испанцы – семьдесят пехотинцев Малагского полка – появились лишь к полудню, когда англичане уже грузились на корабли. Мохарра самолично, костеря на чем свет стоит своих соотечественников, вернулся в лодку и вывез английского офицера, которому шрапнелью оторвало руку. Спас-то он его спас, но – скрепя сердце, потому что сначала «лосось» – так прозвали англичан за цвет их мундиров – цедил по адресу проводников-солдат что-то очень уничижительное, и хоть на своем языке, да все было понятно. И Мохарре хочется, чтобы англичанин всякий раз, взглядывая на свою культу, – если, конечно, выживет – вспоминал этот день. И того *dirty Spaniard*²², которому обязан своей рыжей шкурой.

Два мертвых француза лежат совсем рядом, почти навалившись друг на друга, и селитряная вода в канале стала от их крови розоватой. Мохарра предполагает, что это, скорее всего, часовые, которые погибли в первую минуту боя, когда пятьдесят четыре моряка и морских пехотинца, двенадцать армейских саперов и двадцать два солдара-волонтера подплыли на лодках по каналу Боррикера и под покровом темноты углубились на вражескую территорию. Один из убитых лежит, уткнувшись лицом в тину, так что виден только седоватый затылок, а у второго, смуглого и густоусого, который привалился к нему спиной, застыл с открытым ртом, с вытаращенными глазами, половина черепа снесена пулей. Мохарра видит, что кто-то уже забрал их ружья и перевязи с патронташами, однако золотые серьги, которые лягушатники любят носить в ушах, остались. Фелипе Мохарра приучен относиться к покойникам с должным уважением и в других обстоятельствах вытаскивал бы серьги бережно, постаравшись не порвать мочки, и уж во всяком случае не стал бы отсекал их ножом. Он ведь все же не живорез какой, а добрый христианин. Однако теперь миндальничать не приходится: французы буквально наступают на пятки и люди отходят к большому каналу. И потому, покончив дело двумя взмахами ножа, он заворачивает серьги в платок, прячет под кушак – и как раз в тот миг, когда рядом останавливается перевести дух взмыленный гренадер морской пехоты, который, пригибаясь, пробежал мимо.

– Экий ты, куманек, проворный, – говорит он.

Не отвечая, Мохарра подбирает ружье и уходит, предоставив гренадеру торопливо обшаривать карманы убитых и заглядывать им в рот: если обнаружатся золотые зубы – он выбьет их несколькими ударами приклада. Меж веток низкого кустарника – ничего другого здесь и не растет – видно, как отступающие испанцы петляют вдоль извилистых берегов узеньких каналов, впадающих в канал большой, шагают по земле, которая сейчас, при отливе, освободилась из-под воды. Это и есть окрестности Монтекорто. Уже на берегу солдат замечает, что домики вокруг мельницы полыхают вовсю, а большая часть испанцев погрузилась в свои лодки под прикрытием двух канонерок из порта Гальинерас, через равные промежутки бьющих по французским позициям. Ударная волна докатывается до Фелипе, бьет по ушам, толкает в грудь. Похоже, кроме нескольких раненых – да и те идут на своих ногах, – потеря среди испанцев нет. Ведут двоих пленных французов.

– Берегись! – слышен чей-то крик.

Французская бомба с грохотом взрывается в воздухе, рассыпая вокруг себя осколки. Еще только при звуке выстрела большинство – и Мохарра тоже – припали ничком ко дну лодок или к берегу, однако несколько офицеров возле невысокой стены шлюзового затвора, сложенной из глины и камня, остаются, храня воинское достоинство, на ногах. Солдат узнает среди

²² Грязного испанца (англ.).

них дона Лоренсо Вируэса в синем мундире с лиловым воротником, в шляпе с красной кокардой, с неизменной кожаной сумкой за спиной. Инженер-капитан высадился рано утром, чтобы осмотреть – и, должно быть, зарисовать, думает Мохарра, – неприятельские укрепления, пока саперы не разнесли их.

– Фелипе, дружище! – радуется встрече капитан. – Хорошо, что цел и невредим. Ну что тут слышно?

Мохарра ковыряет в зубах. Высадились-то без съестных припасов и воды, и, чтоб унять, а верней – чтоб обмануть жажду, пришлось жевать стебли укропа: вот волоконце и застряло в дупле.

– Ничего особенного не слышно, дон Лоренсо. *Мусью* возвращаются, но медленно. Наши отступают в порядке. Нужно чего-нибудь?

– Нет, ничего. Все в порядке. Мы с этими сеньорами тронемся за вами следом. Отправляйся.

Мохарра улыбается ему как дитя:

– Рисуночков хороших небось припасли, а, сеньор капитан?

Вируэс улыбается в ответ:

– Да, кое-что удалось... Кое-что есть...

Солевар уважительно подносит палец к правому виску, подражая тому, как отдают друг другу честь военные. Потом, выплюнув свою жвачку, со спокойным достоинством направляется к лодке. Задание выполнено. Его величество король, томящийся в неволе, у лягушатников в плену или где он там, может быть доволен им. За Фелипе дело не станет. В этот миг кто-то пробегает мимо. Это флотский унтер-офицер в сильно поношенном, заплатанном на локтях мундире, с двумя пистолетами за поясом. Очень торопится.

– Шевелись! Уходим! Сейчас рванет!..

Прежде чем Мохарра успевает догадаться, о чем идет речь, позади раздается оглушительный грохот, и взрывная волна догоняет его – ощущение такое, будто кто-то что есть мочи врезал ладонью по спине меж лопаток. В испуге и смятении оборачивается и видит, как над землей вырастает огромный гриб черного дыма, от которого летят во все стороны горящие обломки досок, бревен, фашин. Саперы только что подняли на воздух французский пороховой склад в Монтекорто.

Освежающий левантинец гонит к каналу облако дыма, за которым и скрываются, отчаливая, последние испанцы. На носу одной из лодок стоит, стиснутый плечами товарищей, и Мохарра: от едкого дыма так несет серой, что, кажется, вот-вот нутро вывернет. Но он уже очень давно не знает, что такое тошнота и рвота.

* * *

Воскресенье, и надтреснутый звон с колокольни Сан-Антонио возвещает об окончании полднейной мессы. Присев за вынесенный на улицу столик в кондитерской Бурнеля, под выкрашенными в зеленое балконами, чучельник Грегорио Фумагаль потягивает теплое молоко и наблюдает, как прихожане выходят из церкви, растекаются вокруг мраморных скамей и апельсиновых деревьев в кадках или направляются к широкому, окаймляющему площадь проезду, где ждут коляски и портшезы. Впрочем, сядут в них лишь дамы или старики: в такую чудесную погоду куда приятней прогуляться до улицы Анча или до Аламеда пешком. Как всегда по воскресеньям, здесь в этот час – «весь Кадис», а равно и все те, кто считает, что это понятие распространяется и на них: знать, виднейшие негоцианты, сливки местного общества и самые заметные беженцы, армейские и флотские офицеры, командиры ополчения. Огибая площадь, движется нескончаемая череда шитых золотом мундиров, звезд, галунов и позументов, шелковых чулок, фраков и сюртуков, круглых шляп и цилиндров, допотопных кафтанов, плащей,

дву-, а порой – и треуголок, ибо среди первых лиц города многие еще одеваются на старинный манер. Даже проходящие здесь строем мальчики из хороших семей в согласии с духом времени одеты по всей форме, соответствующей роду войск или прихоти родителей, то есть – в мундирах, при шпажках и в шляпах с красными кокардами, на которых по последней моде поблескивает монограмма *FVII*.

У чучельника имеются собственные понятия о зрелище, представляющем его взору. Он человек ученый, начитанный, или, по крайней мере, сам себя таковым считает. И в сознании этого его взгляд – оценивающий, изучающий и холодный, как у зверей и птиц в его мастерской, – лишен и намек на благожелательность. Голубей, которые, взлетая с его террасы, ткнут – или помогают ткать – наброшенную на город сеть прямых и кривых линий, нельзя даже и сравнить с теми фазанами и индюками, что, распушив хвост, прогуливаются в мерзости этого насквозь растленного, вконец одряхлевшего мира, уже приговоренного неумолимым ходом Природы и Истории. Грегорио Фумагаль убежден, что и кортесы, заседающие в Сан-Фелипе-Нери, не смогут изменить положение дел. Нет, не стоит ждать, что будущая *Carta Magna*²³, почти целиком написанная клириками – благо, они составляют половину всех депутатов – и аристократами, либо грезящими о возвращении королевского строя, либо с тоской вспоминающими о нем, станет той метлой, которая сметет все. В какие одежды ни рядись, но если испанец – с конституцией или без – пойдет по этой дороге, он так навсегда и останется тем убогим невольником, лишенным души, разума и добродетели, которому его бесчеловечные тюремщики ввек не позволят увидеть божий свет. Несчастливым, которому по собственной же глупости, вялости, суеверию до гроба суждено вместе с такими же, как он, беззаветно вверяться высшему порядку; и земные боги в пурпуре и горностае, в сутанах или мантиях неизменно будут на всех широтах и под любыми небесами использовать его ошибки, чтобы поработить его, обратить в порочное, жалкое существо, чтобы свести на нет свойственную ему отвагу, обуздать его героические устремления. Фумагаль, человек, как уже было сказано, владеющий иностранными языками, – он уже лет двадцать, с тех пор как ему попало в руки французское издание «Системы Природы», почитает барона Гольбаха своим наставником – твердо убежден, что Испания упустила удобный момент привести в действие гильотину: реки крови в соответствии с универсальными законами вычистили бы зловонные авгиевы конюшни этого дикого и несчастного края, вечно покорного фанатичным попам, растленным аристократам и бездарным вырожденцам-королям. Но впрочем, чучельник верит, что еще не поздно распахнуть наглухо затворенные окна и впустить в страну свет и воздух. Спасение – недалеко, на расстоянии всего лишь полулиги, на другом берегу бухты, оно явится на крыльях императорских орлов, чьи могучие когти разорвут в клочья черные рати, что пока еще держат в цепях эту часть Европы.

Фумагаль рассеянно мочит губы в козьем молоке. Несколько дам в сопровождении мужей – все с четками, с переплетенными в шагреню или перламутр требниками – замедляют шаги перед входом в кондитерскую. Покуда сильная половина, оставаясь на ногах, закуривает сигары, терзает заводные головки карманных часов, раскланивается со знакомыми и провожает взглядами вполне посторонних дам, жены занимают свободный столик, заказывают прохладительного с пирожными и болтают о своем – о свадьбах, родинах, крестинах, похоронах. Обсуждают дела домашние. Светские новости. Ни единого прямого упоминания о войне – разве что сетования, что несусветно вздорожало то или это, сожаления, что не стало снега – прежде, до французской оккупации, его привозили с отрогов Ронды – и нечем охлаждать напитки. Фумагаль наблюдает за ними краем глаза с затаенной ненавистью. Давнее презрение непоправимо

²³ «Magna Carta [Libertatum]» (*лат.*) – Великая хартия вольностей, грамота, подписанная английским королем Иоанном Безземельным 15 июня 1215 г. и ставшая в последующем одним из основополагающих конституционных актов Великобритании.

отделяет его от жизни других людей; физическое омерзение к ним заставляет ерзать в кресле. Все эти дамы носят туалеты черные или очень темные, оживляя глухие тона лишь неожиданной яркостью перчаток, сумочек и вееров, а головы покрывают легким кружевом мантилий, из-под которых виднеются букли, локоны, косы, уложенные короной или собранные узлом. Кое у кого, согласно новейшей моде, от локтя до самого запястья идут вдоль рукавов ряды пуговиц. У простолюдинок они из позолоченной латуни, но у соседок чучельника – золотые, с бриллиантами, такие же, что украшают жилеты их мужей. Каждая такая пуговица, прикидывает Фумагаль, тянет никак не меньше двухсот песо.

– Что это? – воскликнула одна из дам, жестом призывая подруг к тишине.

– Что? Ничего не слышу, Пьедита, – ответила ей другая.

– Потому что трещишь. Помолчи и прислушайся... Где-то далеко...

В самом деле – до витрин кондитерской из какой-то дальней дали докатывается глухой тяжелый грохот. Дамы и кавалеры, как и все прочие прохожие, с тревогой глядят на перекресток улицы Мургия, где расположено кафе «Аполлон». На полуслове замирают разговоры; все пытаются понять – обычная ли это, ставшая уже привычной каждодневная артиллерийская перестрелка между батареями Пунталеса и Трокадеро, или же французы, восстановив положение под Чикланой, снова принялись бомбардировать Кадис, силясь дотянуться до центра.

– Нет, ничего... – Донья Пьедита вновь берется за печенье.

Чучельник с ледяной злобой смотрит на восток. Настанет день, думает он, и оттуда налетит обжигающий ветер, который все расставит по своим местам, и пламенный меч науки, которая неуклонно и с каждым днем все гуще покрывает россыпью красных точек план этого города, так упрямо коснеющего на обочине Истории, дотянется и до площади Сан-Антонио. Грегорио Фумагаль в этом непреложно убежден и ради этого работает. Рискую, между прочим, жизнью. Во имя будущего. Он будет идти все дальше и дальше, пока рано или поздно не покроет отметками все это воображаемое пространство, населенное существами, которые тоже давно уже не существуют в действительности. Этот набухший гноем нарыв, настоятельно требующий, чтобы благодетельный нож хирурга вскрыл его. Эту палку в колесе разума и прогресса, в самоубийственно безумном ослеплении застопорившую его ход.

Дамы меж тем продолжают щебетать, прикрывая лица от солнца веерами на манер зонтиков. И на лицо Фумагалья, краешком глаза наблюдающего за ними, помимо его воли всплывает мстительная улыбка. Спohватившись, он тотчас скрывает ее, поднеся ко рту стакан молока. Бомбы обрушатся на эти пуговицы из золота и брильянтов, ликующе предвкушает чучельник. На шелковые шали, на веера, на атласные туфельки. На вьющиеся вдоль щек локоны.

Безмозглые твари, говорит он про себя. Тлетворная и бессмысленная окалина, покрывающая мир, с рождения своего подверженная греху. О, как бы ему хотелось привести кого-нибудь из этих женщин к себе, превратить в драгоценный трофей – не чета тем, что уже украшают стены кабинета, в котором теперь и последнее его творение – уличный бродячий пес – вполне удовлетворительно держится на четырех лапах, уставившись в никуда блестящими стеклянными глазами. И там, в разнеживающем сумрачном уюте, разложить это нагое тело на мраморном столе – и выпотрошить.

При этой мысли Грегорио, облаченного в обтягивающие панталоны и открытый фрак, охватывает неуместное возбуждение, так что, скрывая его, приходится сменить позу и закинуть ногу на ногу. В конце концов, делает он вывод, свобода человека есть всего лишь его внутренняя потребность.

* * *

Гул разговоров. Музыки нет – Великий пост. Особняк, арендованный британским послом для празднества – «приема», как теперь сдержанно именуются подобные вечера, – оза-

рен огнями бесчисленных свечей, сияет блеском серебра и хрусталя, радует глаз гирляндами цветов под люстрами на потолке. Официальный повод – захват англо-испанскими войсками холма Пуэрко, но поговаривают, что на самом-то деле прием устроили, чтобы несколько умерить напряженность, возникшую в отношениях союзников после того, как насмерть переругались генералы Лапенья и Грэм. Вероятно, по этой причине действие происходит не в резиденции посла Уэлсли на улице Амаргура, а, так сказать, на нейтральной территории, причем обошлось оно – в Кадисе очень чутки к подробностям такого рода – в пятнадцать тысяч реалов, выложенных Регентством за аренду дворца, принадлежавшего некогда маркизу де Масатлану, а ныне отчужденному в пользу казны, поскольку владелец передался французам и присягнул Жозефу Бонапарту. Что касается угощения, то ничего из ряда вон выходящего не предлагают, никаких изысков и роскошеств: вина местные и португальские, пунш, к которому никто, кроме британцев, не притрагивается, слоеные пирожки с рыбой, фрукты, прохладительное. Пиршество щедро иллюминировано: сотни восковых свечей и масляных ламп заливают ярким светом весь дворец от лестниц до гостиных. Факелы и фонари горят и у ворот, где гостей встречают ливрейные лакеи, и на террасе, выходящей на проезд, который вдоль крепостных стен уходит к бухте – темной, если не считать далеких огней Пуэрто-де-Санта-Марии, Пуэрто-Реаля и Трокадеро.

– Глядите – вдова полковника Ортеги.

– Она больше смахивает не на полковничью вдову, а на сержантскую милашку.

Сдавленный смех. Дамы прикрывают рты веерами. Шутку эту, как и следовало ожидать, отпустил кузен Тоньо. Он сидит на диване возле застекленной двери на террасу в окружении кадисских дам и барышень – среди них и Лолита Пальма. Общим числом – не менее полудюжины. Рядом, с сигарами и бокалами в руках, стоят и несколько кавалеров – темные фраки, белые галстуки на пластролах или жабо, низко вырезанные, согласно моде, жилеты. Выделяются парадные мундиры двух испанских офицеров. Здесь же – Хорхе Фернандес Кучильеро, молодой депутат кортесов и друг семьи Пальма.

– Оставь свои шпильки, – ласково пеняет Лолита, дергая кузена за рукав.

– Но ведь ты для того только и села со мной рядом, – непринужденно и добродушно отвечает Тоньо. – А иначе кому и зачем я нужен?

Кузен Тоньо – Антонио Карденаль Угарте – старый холостяк, близкая родня семейства Пальма, с которым поддерживает исключительные отношения, по заведенному бог знает когда ритуалу являясь с неизменным и ежедневным визитом к Лолите и ее матушке. Везде и всюду он чувствует себя как рыба в воде, особенно когда после очередной и невесть какой по счету бутылки мансанильи оседет ниже ватерлинии. Долговязый и несколько нескладный завсегда-тай кадисских кофеен, немного близорукий и с годами обзаведшийся изрядным брюшком, он – что только придает ему еще больше *шарма* – небрежен в одежде: галстук повязан кое-как, жилет вечно засыпан сигарным пеплом. Он и дня в жизни своей не работал и с постели раньше полудня не встает, но о хлебе насущном может не заботиться: живет на ренту, получаемую с кубинских ценных бумаг и не снизившуюся даже после начала военных действий. Чурается политики и обо всем на свете судит с добродушной язвительностью. Находчив, остер на язык и благодаря своему искрометному, что называется, юмору и неизменной благорасположенности – душа общества, любого, где бы ни оказался. Обладает поистине магическим даром привлекать к себе молодежь и самых красивых, самых жизнерадостных дам, и не было еще ни одного званого вечера, сколь угодно чинного и церемонного, чтобы он не собрал вокруг себя людей, зараженных его бесцеремонной и шумной веселостью.

– Упаси тебя Бог, сестрица, даже попробовать что-нибудь вон с тех подносов. Этого в рот взять нельзя. Наш союзник Уэлсли ухнул все на свечи – много блеску, много треску, а уйдешь голодный.

Лолита Пальма в комическом ужасе прижимает палец к губам, показывая глазами на британского посла. Брат герцога Веллингтона – в кафтане лилового бархата, в черных шелковых чулках и башмаках с крупными серебряными пряжками – встречает приглашенных у входа в зал. Возле посла стоят несколько офицеров в армейских, красных, и флотских, синих с золотом, мундирах. Здесь же и генерал Грэм, герой битвы при Пуэрко, с надменно-неприязненной миной на лице, багровом, как вареная креветка.

– Тише, Тоньо! Услышат!

– И очень хорошо, если услышат, черт бы их взял! Морят людей голодом!

– Разве в этом не французы виноваты? – весело спрашивает кто-то из гостей.

Этот весьма привлекательный офицер очень отличился недавно на Исла-де-Леоне. Лолита Пальма познакомилась с ним на одной из тех немногих вечеринок, которые посещает изредка, – в доме у своей крестной, доньи Кончиты Солис, которой офицер приходится племянником. Зовут его Лоренсо Вируэс. Родом из Уэски. Инженер-капитан.

– Да какие, к черту, французы! – отмахивается Тоньо. – Глядя на эти гадостные пирожки, я понимаю – враг проник в наши ряды.

Все снова смеются. И громче остальных – сам Тоньо: тот буквально покатывается, заливаясь ребячески звонким хохотом чуть ли не на весь зал. Не отстает от него, задорно потряхивая спиральками белокурых локончиков, Курра Вильчес, лучшая Лолитина подруга – маленькая, очень миловидная, пухленькая, но при этом отменно сложенная молодая дама, умело подчеркивающая пышную грудь турецкой шалью, завязанной под самым вырезом креповой туники. Курра замужем за преуспевающим кадисским негодяем: сам он постоянно в разъездах, а ей предоставляет относительную свободу. Веселая, постоянно оживленная и беззаботная, сеньора Вильчес – прекрасная пара кузену Тоньо. Лолита знает ее с детства: вместе учились в женском пансионе доньи Риты Норрис, вместе летом жили в Чиклане у моря, среди сосен. Их связывает настоящая дружба – искренняя, надежная, исполненная бесконечной нежности.

– Хотите еще чего-нибудь, Лолита? – спросил капитан Вируэс.

– Да. Лимонаду, пожалуйста.

Офицер отошел в поисках лакея с подносом, а неугомонный Тоньо тем временем принялся рассказывать, как святая инквизиция, об упразднении которой идут сейчас жаркие дебаты в кортесах, сочла безнравственной ширинку на мужских брюках в отличие от более пристойного варианта застежки – клапана на двух пуговицах.

– И лично я исполняю рекомендацию святых отцов неукоснительно. Взгляните, милые сеньоры. Неужели же из-за четырех-пяти пуговиц подвергать душу свою вечному проклятию?

Это речение вызвало новый взрыв смеха и усиленные движения вееров. Лолита Пальма с улыбкой повела взглядом по залу, заполненному гостями. Вот две или три сутаны. Вот вокруг стола оживленно беседуют несколько мужчин без дам. Лолита знает почти всех. По большей части все они молоды, все придерживаются взглядов либеральных и реформаторских. Есть среди них и депутаты кортесов: знаменитый Аргельес и Хосе Мария Кейпо де Льяно, граф Торено, который, хоть и почти мальчик годами, представляет там Астурию. Рядом – литератор Кинтана, цыганистый большеглазый красавец-поэт Франсиско Мартинес де ла Роса, юный Антоньете Алькала Галиано, сын бригадира, погибшего при Трафальгаре, Анхель Сааведра, герцог де Ривас, двадцатилетний капитан, привлекающий взоры дам не только молодцеватой статью и цветущей юностью, аксельбантами генерального штаба и элегантными русскими сапогами *à la Suvarov*²⁴, но и тем, что был тяжело ранен под Оканьей и до сих пор носит на лбу повязку – память о штыковом ударе, полученном в бою за Чиклану. В другом кружке – окруженный офицерами губернатор Вильявисенсио, генерал-лейтенант Кайетано Вальдес,

²⁴ Как у Суворова (искаж. фр.).

командующий флотилией маломерных судов, генералы Блейк и Кастельянос, а вот генерала Лапены, так жестоко повздоровившего с англичанами, не видно нигде. Среди разнообразных мундиров выделяются своей кричащей яркостью волонтерские, на которых шнуров и галунов тем больше, чем батальон дальше от передовой. Здешних дам легко отличить от титулованных, родовитых или просто богатых беженок, нашедших в Кадисе приют и убежище, – те еще носят платья с высокой, по французской моде, талией, тогда как местные одеты уже на английский манер – в туалеты сдержанных тонов и со скромными декольте. У одной из эмигранток, годами постарше других, волосы на затылке подстрижены совсем коротко, а спереди, на лбу, круто завиты: эта прическа, именуемая *guillotinée*, ныне – давно уже не в моде.

Лолита Пальма же, по своему обыкновению, одета просто. Сегодня вечером она отказалась от обычного черного или темно-серого цвета в пользу синего платья с узким лифом и низкой талией; набросила на плечи кружевную, затканную золотой нитью мантилью, подобрала волосы, сколов их двумя маленькими серебряными гребнями, повесила на шею единственное украшение – фамильную камею на золотой цепочке. Она почти никогда не посещает подобного рода приемов – разве что в интересах дела. И сегодня как раз этот случай. Приглашение посла оказалось как нельзя более кстати: компания «Пальма и сыновья» как раз ищет пути получить подряд на поставку марокканской говядины для британской армии. В подобных обстоятельствах Лолита сочла совсем не лишним выйти, что называется, в свет, хоть и рассчитывает рано уйти с приема.

Появился капитан Вируэс, а за ним следом – лакей с подносом. Фернандес Кучильеро, только что получивший письмо от родных из Буэнос-Айреса, рассказывал, как обстоят дела в Рио-де-ла-Плате: тамошняя мятежная хунта отказывается признавать власть Регентства. Лолита, взяв стакан лимонаду и поблагодарив офицера, с удивлением заметила рядом с доном Эмилио Санчесом Гинеа, входившим в зал в сопровождении своего сына Мигеля, и давешнего моряка Лобо: его синий сюртук с золотыми пуговицами и белые штаны странновато смотрелись рядом с темными фраками обоих негоциантов. Появление корсара вселило в Лолиту какую-то смутную тревогу – и уже не в первый раз. Она теряется в догадках: зачем отец и сын Гинеа привели с собой Пепе Лобо? В конце концов, не более чем младшего партнера, компаньона-миноритария. А вернее – просто служащего, наемного работника. Ну или почти.

– Ба! – сказал, проследив за ее взглядом, капитан Вируэс. – Кого я вижу... Гибралтарский знакомец.

Лолита удивленно повернулась к нему:

– Вы его знаете?

– Немного.

– А почему «гибралтарский»?

Вируэс несколько мгновений медлил с ответом, а потом проговорил, как-то странно улыбаясь:

– В восемьсот седьмом мы с ним были там в плену.

– Вместе?

– Хоть и вместе, да не рядом.

Легкое пренебрежение, прозвучавшее в этой реплике, не укрылось от Лолиты, однако ей не хотелось ни выказывать чрезмерный интерес, ни казаться нескромной. Вируэс вступил в общий разговор. Лолита, присев на диван, наблюдала, как дон Эмилио приветствует посла, раскланивается с гостями, а потом, заметив ее, устремляется к ней через весь зал. Мигель и Пепе Лобо следовали за ним в нескольких шагах. Повинуясь ей самой не вполне понятному побуждению, она поднялась и пошла навстречу старику. И лишь потом сообразила: ей не хочется, чтобы Вируэс, умеющий улыбаться так многозначительно, видел, как она здоровается с этой троицей.

– Как ты хороша сегодня, дитя мое... Ах, видел бы тебя отец...

Обычный обмен любезностями. Подошел Мигель Санчес Гинеа, стройный, ладный, хоть и очень высокий молодой человек, удивительно похожий на отца. Капитан Пепе Лобо держался позади, наблюдая за происходящим, а когда Лолита наконец обратила к нему взгляд, приветствовал ее легким поклоном – но не тронулся с места и не разомкнул плотно сжатых губ. Взяв дон Франсиско под руку, она отвела его в сторону и спросила, понизив голос:

– Как вам пришло в голову привести его сюда?

Старый негодник принялся оправдываться. Пепе Лобо работает на него, ну и на нее тоже. Исключительно удачный случай познакомить его кое с кем из тех людей, британцев и наших, кто может оказаться полезен для их затеи. Она ведь не хуже его знает: не подмажешь – не поедешь. Это Кадис.

– Ради бога, дон Эмилио... Ведь он корсар.

– Ну разумеется, корсар. А ты вложила столько же денег, сколько и я. И в успехе дела должна быть заинтересована не меньше моего.

– Но здесь, на этом приеме... Согласитесь... Всеу свое место. И время.

Произнося эти слова, она беспокойно оглядывается по сторонам. Дон Эмилио смотрит на нее:

– Ты хочешь сказать – «не к масти козырь»?

– Конечно.

– Не понимаю такого... Моряк как моряк. Как тысячи других. Только согласен рискнуть сильнее.

– За деньги.

– Как и ты, моя дорогая. И как я. Сей побудительный мотив в нашем городе освящен традицией не менее всех иных.

Лолита Пальма смотрит поверх его плеча. Стоя в нескольких шагах от нее, рядом с Гинеа-младшим, капитан изучает напитки на подносе, который держит перед ними ливрейный лакей. И через секунду, посвященную, надо думать, размышлениям, коротко качает головой. Подняв голову, встречается взглядом со взглядом Лолиты, а та поспешно отводит глаза.

– Он вам чем-то нравится, дон Эмилио. Признайтесь.

– А если даже и так, что тут дурного? Он и Мигелю нравится. Досконально знает свое дело, здраво мыслит. А затея наша такова, что мы должны доверять ему всецело и безоговорочно. Вот так и смотри на капитана Пепе Лобо.

– А мне он совсем не нравится.

Старик пытливо смотрит ей в лицо:

– В самом деле? Совсем?

– Я же сказала.

– Но ты тем не менее согласилась войти в дело...

– Это – другое... Я вошла в дело на паях с вами. Как уже бывало не раз.

– Тогда верь мне, как верила раньше. Я плохого не посоветую. – Старик ласково похлопывает ее по руке. – И потом... я же не прошу, чтобы ты пригласила его на чашку шоколаду.

Лолита высвобождается – не слишком резко, но решительно:

– Дон Эмилио, это уже слишком.

– Нет, дитя мое. Я отношусь к тебе с такой нежностью, что мне позволено все... И потом, я не понимаю, на что тут сердиться...

Приближается Мигель, и они меняют тему. Пепе Лобо по-прежнему держится в стороне: спокойно и несколько рассеянно, заложив руки за спину, медленными шагами он движется по залу, и Лолита невольно следует за ним взглядом. Он не очень вписывается в обстановку, думает она, а впрочем, может быть, это всего лишь ее фантазии; когда через минуту она вновь находит капитана глазами, тот уже с полнейшей непринужденностью ведет беседу с людьми, о существовании которых час назад наверняка даже не подозревал.

– Твой капитан, надо сказать, быстро заводит знакомства, – говорит она Мигелю Санчесу. Раскуривая сигару, Гинеа-младший улыбается:

– Да ведь он для того и пришел. Знаешь, этот малый вообще не из тех, кто потеряется где бы то ни было – на дипломатическом ли приеме или еще где... У него, если свалится в море, вмиг появятся жабры и плавники.

– Дон Эмилио говорит, будто он тебя буквально приворожил.

Окутываясь сигарным дымом, Мигель хохочет. Лолита Пальма и его знает с детства – вместе играли под чикланскими соснами, благо и виллы обоих семейств стояли рядом. Она крестила у него старшего сына.

– Мужчина с головы до ног. Теперь таких редко встретишь.

– И, по твоим словам, хороший моряк?

– Лучше не встречал. – Мигель, попыхивавший сигарой, вынимает ее изо рта и показывает на Пепе Лобо, который разговаривает с адъютантом генерала Вальдеса. – Бровью не поведет ни при каких обстоятельствах – даже когда шторм не дает подойти к берегу и ломает мачты... Редкостного хладнокровия человек. Если повезет, вернется к вам с богатой добычей.

– Он, кажется, был на Гибралтаре?

– Да много раз бывал. И даже в плену у англичан там посидел. Несколько лет назад.

– И что же?

– Сбежал. Можешь себе представить? Угнал судно и сбежал.

Приглашенные перемещаются взад-вперед по залу, звучат приветствия, гудят разговоры о ходе военных действий и торговых дел – в последнее время одно тесно связано с другим. Лолита Пальма – что неизменно поражает людей нездешних – одна из немногих женщин, которые принимают в таких разговорах участие, хотя по природной благоразумной сдержанности больше слушает – и очень внимательно, – чем говорит, и не спешит высказать свое мнение, даже когда ее об этом просят. К ней и к обоим Гинеа постоянно и с самого начала вечера подходят знакомые обсудить негодии, посетовать, что заморские территории восстали, что Буэнос-Айрес взят мятежниками в осаду, и хорошо еще, хоть Куба хранит верность метрополии, и что хаос, творящийся в Испании, перекинулся и на другой берег Атлантического океана, где безответственные авантюристы тшятся погреть руки на смуте, и что англичане рано или поздно выставят счет – и ох какой немалый! – за свою помощь в войне на Полуострове.

– Прошу простить меня, господа... Я устала и, наверно, вскоре должна буду попрощаться.

Лолита уходит в дамскую комнату. А вернувшись, видит капитана Лобо – он стоит как раз на середине пути, который она должна пройти, чтобы присоединиться к гостям, обступившим хохочущего кузена Тоньо. Лолита думает, что капитан – и едва ли случайно, потому что такие маневры случайно не делаются, – уподобился кораблю, идущему на перехват; произвел навигационное счисление, прибыл в нужную точку океана и лег в дрейф, терпеливо поджидая добычу. Как видно, он дока в подобных расчетах.

– Хотел вас поблагодарить.

– За что?

– За то, что взяли меня в это предприятие.

Она впервые видит его так близко, впервые разговаривает с ним. Месяц назад в кабинете на улице Балуарте они виделись мельком. Тогда его привел дон Лоренсо; интересно, не он ли посоветовал этому Пепе Лобо подкараулить ее? Или это работа Мигеля?

– Не знаю, известно ли вам... – добавляет моряк. – Через неделю выходим на первую охоту.

– Известно. Дон Эмилио сказал.

– А мне он еще сказал, что корсары вам не по нраву.

Прямоту высказывания самую малость смягчает улыбка. Что ж, это правильно: чтобы не показаться невежей, стань нахалом.

– Сеньор Санчес Гинеа порою говорит слишком много, и много лишнего. Но не вижу, чем это помешает вам исполнять свои обязанности.

– Да оно и не помешает. Но может быть, нелишне будет объяснить, в чем они состоят.

Вот так, когда смотришь на него вблизи, надо признать, что лицо, хоть и не особенно тонкое, неприятным не назовешь. Крупный нос, немного грубоватые черты, топорный профиль. Из-за левого уха к затылку, полускрытый густым бакенбардом и воротом сюртука, тянется, исчезая в волосах, шрам. А глаза, оказывается, светлые, зеленоватые, как только что вымытый виноград.

– А я и так знаю. Я выросла среди кораблей и фрахтов, и интересы моей семьи не раз ставились под угрозу людьми вашего ремесла.

– Полагаю все же – не испанцами.

– Испанцами ли, англичанами – не все ли равно? В моих глазах корсар – тот же пират, только с королевским патентом в кармане.

Расписки в получении не последовало. Адресат не моргнул и глазом – светлым, спокойно глядящим на нее. Смотрит, думает Лолита, как кот на солнечный свет.

– Однако иметь с ними дело порой оказывается небезвыгодно. – И снова беглая улыбка смягчает реплику.

Сказано скорее осторожно, нежели учтиво. Пожалуй, он не так уж неотесан, хоть и неотшлифован и вовсе не отполирован, – лоску в самом деле никакого. Родовое, наследственное плебейство угадывается в звучании голоса, в резкой определенности черт четко очерченного, мужественного лица. Человека, стоящего перед Лолитой, легко представить себе, например, крижистым пахарем за плугом или опасным головорезом-*хаке* в таверне, где в спертom воздухе висят сигарный дым, запах пота и предчувствие поножовщины, скорой и неминуемой. Вот это ближе к истине, думает она в смутной тревоге. Так и видишь его в каком-нибудь притоне, которых не счесть между Пуэрта-де-Тьеррой и Пуэрта-де-Маром, в сомнительном кабаке на Ла-Калете в окружении женщин известного сорта. Об этом, впрочем, дон Эмилио предупредил ее. Да уж, этот прямой взгляд не вполне соответствует понятию *кабальеро* и не свидетельствует о мало-мальской претензии считаться таковым.

– Почему я так поступаю – это мое дело, капитан. Резоны с вами обсуждать не стану.

Корсар некоторое время стоит молча, смотрит на нее неотрывно и очень серьезно.

– Видите ли, сеньора... Или лучше обращаться к вам «сеньорита»?

– «Сеньора» меня устроит.

– Так вот, сеньора, видите ли, какое дело. Вы и дон Эмилио вкладываете в наше предприятие деньги, которые могли бы использовать иначе. Я – все, что у меня есть. Если что пойдет не так, вы теряете только инвестицию...

– Не забудьте еще и о доверии к нам как к арматорам.

– Да, конечно. Но его нетрудно и восстановить. Есть чем. Я же вместе с судном потеряю и жизнь.

Лолита очень медленно поворачивает голову. Выдерживает, не мигая, пристальный взгляд.

– Я так и не поняла, к чему был нужен этот разговор. И что именно вам так уж надо было мне объяснить.

Вот теперь впервые за все время что-то дрогнуло в его лице – пусть и на мгновение. Скользнула легчайшая тень какой-то неловкости – вроде той, какая возникает, когда наденешь дурно скроенный костюм. Или, применительно к этому капитану, наоборот – хорошо сшитый, не без злорадства подумала она. А Пепе Лобо, поглядев зачем-то на свои руки – широкие ладони, крепкие пальцы, квадратные ногти, – отвел глаза, обвел ими зал. Только сейчас Лолита Пальма заметила, что на нем – тот же самый потертый на локтях сюртук, в котором впервые увидела его на улице Балуарте: тщательно вычищенный, с отутюженными лацканами, но – тот

же самый. Да и сорочка, свежая и накрахмаленная, повязанная черным тафтяным галстучком, слегка обмахрилась по вороту. И неведомо почему это умилило Лолиту. Хотя в ее случае умиление, тотчас спохватилась она, пожалуй, неуместно. Излишне. Если не опасно. Надо подыскать верное слово. Хорошо, пусть будет «тронуло». Это годится. Ну или «смягчило».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.